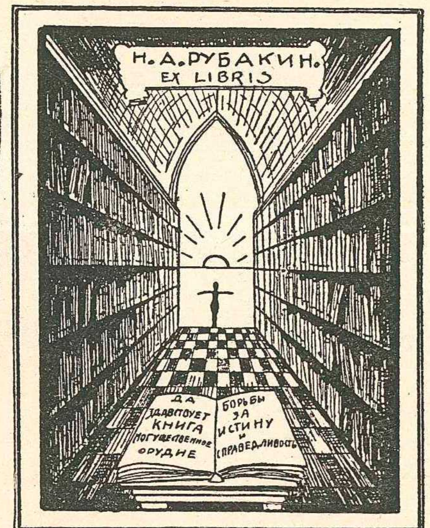
О. С. МИНОР

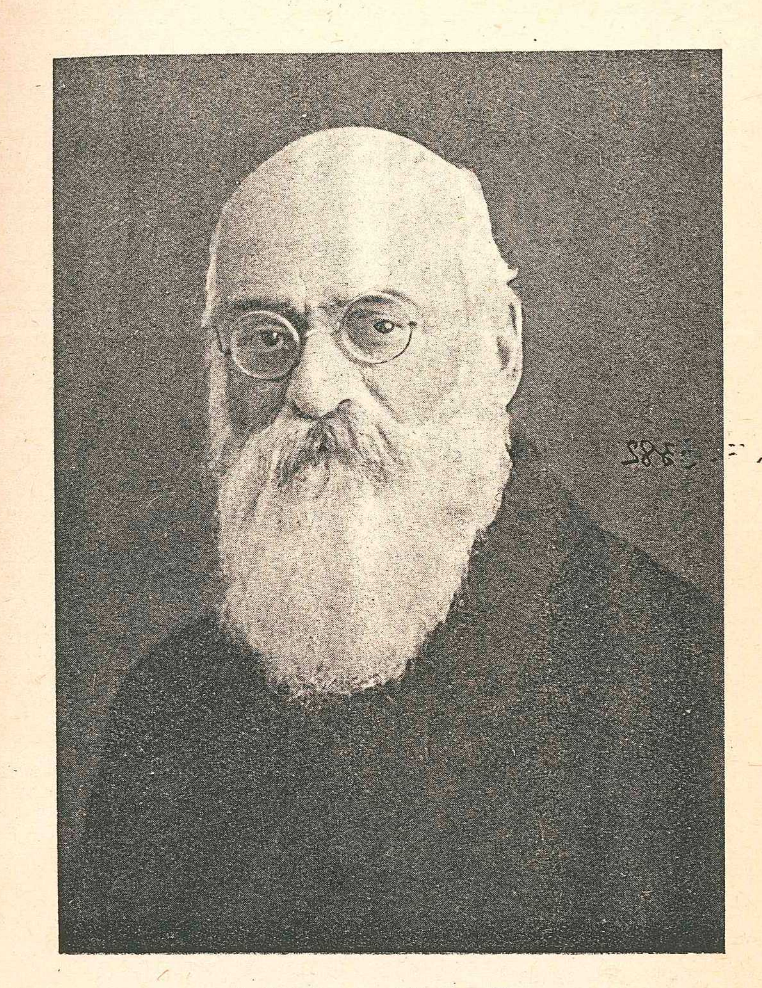
Это было давно...

(Воспоминания солдата революции)

ПАРИЖ
1933



Доход от продажи книги поступит в распоряжение Политического Красного Креста в Париже.



О. С. Минор. 1932 год. Париж.

За несколько месяцев до своей смерти, по поводу предполагавшегося собрания, посвященного дорогой нам памяти члена комитета Политического Красного Креста, Татьяны Самойловны Потаповой, Осип Соломонович Минор, с присущей ему суровой категоричностью горячо убежденного человека, заявил: «Я знаю только один способ чтить память революционера и общественного деятеля, — это продолжать то дело, которому он служил». Товарищи Осипа Соломоновича по Политическому Красному Кресту полагают, что они действуют в полном соответствии с волей своего незабвенного председателя, воспроизводя для широкой публики эти странички из его воспоминаний о долгих годах неутомимой и жертвенной революционной борьбы. По желанию семьи покойного и благодаря дружеской отзывчивости типографии de la Société Nouvelle d'Imprimerie et d'Edition, *взявшей на себя труд и предварительные расходы по изданию, весь чистый доход от продажи этой книжки пойдет на дело помощи политическим ссыльным и заключенным в России, — на дело, которому Осип Соломонович отдавал до последних дней своей жизни так много времени и сил.*

Воспоминания О. С. Минора были им написаны для газеты «Русский Солдат-Гражданин во Фран-

ции», выходившей в Париже в 1917-1921 годах и обслуживавшей многотысячную массу солдат русского экспедиционного корпуса и военнопленных, перекинутых из Германии во Францию после перемирия. [1]). *Ограниченные размеры этого скромного органа и самый состав его читательской аудитории определили до известной степени характер этих воспоминаний, заставив автора выбрать из богатой истории своего революционного прошлого лишь немногие особенно яркие странички. Но даже в таком виде эти воспоминания были отмечены в московском журнале Общества Политических Каторжан и Ссыльных-Поселенцев, как представляющие «наибольший интерес» из всей зарубежной мемуарной литературы, относящейся к народовольческой эпохе.* [2])

Со времени появления воспоминаний О. С. Минора в России издано огромное количество исследований и мемуаров, более подробно освещающих этот период русского революционного движения, — в частности, знаменитой «якутской бойне» посвящен специальный сборник. [3]) *Но и наряду с этими изданиями настоящие «Странички из воспоминаний солдата революции» сохраняют, думается, не только человеческую, но и историческую ценность.*

Описывая события, которых он был участником, Осип Соломонович, со своей обычной, столь для него характерной, скромностью, меньше всего выделяет свою личную роль; если иногда, в виде исключения, он задерживается на личных переживаниях, они всегда направлены на интересы общего, беззаветно дорогого ему дела. И тем не менее, все, кто имели счастье с ним соприкасаться, найдут в этих безыскусственных правдивых страничках, помимо исторических фактов, знакомый отблеск его непреклонного пламенного сердца, его, несломленной даже горечью нового изгнания, веры в конечное торжество дорогих ему идей свободы и социализма. Мощный, несогнутый непогодами дуб, корнями уходивший в историю русского освободительного движения, но вечно зелеными ветвями всегда умевший приветствовать «племя молодое, незнакомое», — таким остается Осип Соломонович Минор в памяти тех, кто его знал и любил, и таким он вырастает на страницах этой небольшой книги, изданием которой мы хотели почтить его память.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ В ПАРИЖЕ

---

[1]) Воспоминания печатались небольшими отрывками на протяжении 31-го номера газеты (апрель-ноябрь 1919 г.).

[2]) См. статью Б. Н-ского, **Каторга и Ссылка**, 1926 г., № 5(26), стр. 256 и след.

[3]) **Якутская трагедия 22 марта 1889 года.** Сборник воспоминаний и материалов под редакцией М. А. Брагинского и К. М. Терешковича. Издание Общества Политических Каторжан и Ссыльно-Поселенцев. Москва, 1925 г.

В 1883 году, в начале октября, московскую учащуюся молодежь усиленно обыскивали и арестовывали по приказу из Петербурга от царского департамента полиции. Как раз в это время в столице убит был революционерами начальник политической полиции Судейкин по приговору Исполнительного Комитета партии Народной Воли, причем участники убийства успели скрыться. Шли поиски, а так как у полиции в то время не было никаких сведений, то она просто и бессмысленно искала и готова была чуть ли не каждого студента заподозрить в убийстве Судейкина.

Я в то время был студентом московского университета и, как все почти студенты, примыкал к партии Народной Воли и был занят совсем не науками, а пропагандой в рабочей среде.

Вл. Розенберг, недавний еще редактор известной московской газеты «Русские Ведомости», закрытой большевиками, А. Введенский, Андреев, Ф. Данилов, М. Гоц, М. Фондаминский, У. Рубинов, Хлопков, Золотницкий, М. Лаврусевич, Баранов и др. составля-

ли кружок народовольцев, задавшийся целью помогать партии всеми силами. Все мы были, конечно, на виду у полиции. И за наш кружок она принялась... Обыски дали ничтожные результаты — у меня нашли несколько недозволенных газет, у Баранова немного типографского шрифта и части типографского самодельного станка, у Сергея Сотникова револьвер, и т. д. Всех нас в числе многих десятков рабов божьих посадили в тюрьмы. В качестве тюрем для подследственных политических арестованных служили арестные дома при городских участках. Я попал в отвратительный, грязный, сырой 1-й участок, в одиночку.

Жутко в первый раз в тюрьме... Полная тишина наступила после того, как меня ввели в одиночную камеру, заперли дверь на замок, задвинули поперечную железную перекладину. Прозвучали тяжелые шаги надзирателя по корридору, захлопнулась корридорная тяжелая дверь... Кругом тихо, тихо... В обмерзшее окно еле-еле проникает свет. Сыро. Пол покрыт толстым слоем слизистой грязи. Всюду щели. Налево у стенки грязная деревянная кровать. На ней сенник грязный, вероятно, никогда немытый, такая же подушка. Сено в них от долгого употребления запрело и обратилось в твердую пыль. На них видны всевозможные следы человеческой жизни, и гадость, и кровь... Наверно лежал здесь какой-нибудь несчастный чахоточный, истекавший кровью... А может быть пороли кого-нибудь до крови,

а после бросили на этот тюфяк? Как же я тут буду лежать, невольно подумалось... Жутко... Я отвернулся... У другой стенки — небольшой изломанный столик с ящиком и табуретка. Наконец, в углу у дверей, против кровати — парашка... Ведро, снаружи обмазанное дегтем, густым, грязным... Крышки нет. Фу!.. Какой воздух!.. Отравленный! Дышать трудно. Над столиком маленькая полка. На ней горсточка соли, грязной, перемешанной с пылью и засохшими крошками хлеба; грязный железный чайник с поломанной крышкой. Все в пыли. Стало противно. Нельзя ни ходить, ни сидеть, ни лежать... Стал смотреть в окно. Видны сквозь решетку клочки серого неба.

Я чувствовал необходимость уйти от этой тишины, от грязи. Стал механически передвигаться вдоль стены, и вдруг передо мною открылся целый мир страданий, томления, любви, мир упорной радостной борьбы за счастье. Стены сплошь исцарапаны и исписаны именами любимых людей, стихами, посвященными то сестре, то матери, то любимой девушке или любимому юноше. «Не забуду тебя никогда! Я только живу тем, что закрою глаза — и вижу тебя, дорогая мама!». «Верь, я честен! Не думай, что в тюрьму попадают только негодные люди!». «Но настанет пора и восстанет народ!..». Всех надписей, конечно, не перечтешь, но вдумываясь в них, я почувствовал, что камера ожила, наполнилась целой массой людей, плачущих, гордых, любящих,

ненавидящих, страдающих, смеющихся... Жуть прошла. Я не один! Часы проходили, а я читал и перечитывал живые слова живых людей. Стемнело. Грязь покрывалась темным пологом, исчезла на тюфяке, на подушке, и я, усталый, измученный, свалился и быстро, спокойно заснул. Так началась моя тюремная жизнь. Дни потянулись, как смола, недели летели, как стрелы. Дни раза два в неделю разнообразились свиданиями, за которые каждый раз смотритель получал пять рублей, и допросами в охранке. Следствие велось, будто в самом деле я серьезный преступник, под руководством самого знаменитого прокурора Муравьева.

На первом-же допросе, на его вопрос, читал-ли я газеты «Земля и Воля» и «Народная Воля», я ответил утвердительно. Он обрадовался.

— А скажите, кто вам давал их?

Он думал, что после первой откровенности я несомненно удовлетворю его «любопытство» и дальше, но я заявил, что нашел целую пачку газет в университете, у себя на столике. Он сделал недовольное движение и начал меня запугивать каторгой, тюрьмой...

После этого допросы кончились, ибо когда меня во второй раз привезли в охранку, повторилась та же картина. К тому же вопросы мне предлагались такие, о которых я вообще-то ничего не мог сказать, ибо в те годы, как я уже сказал, я занят был исключительно пропагандой.



О. С. Минор
4-го мая 1888 г.
Бутырская тюрьма

Продержали меня в тюрьме месяца два, в течение которых я еще сильнее возненавидел режим чиновничьего насилия и глупости. В том-же коридоре, где я сидел, но на противоположном конце, содержалась студентка, бывшая тоже членом одного из многочисленных кружков, Вера Обухова. Ее молодость, красота и бесконечно веселое настроение не давали, видимо, покоя одному из помощников смотрителя, и он имел подлость сделать ей гнусное предложение. Вера Обухова отвесила ему основательную оплеуху. После этого ее стали буквально мучить. Обухова заболела и уже не могла оправиться и после освобождения вскоре умерла. Моя ненависть к царскому строю росла, и необходимость борьбы с ним крепла. Первая тюрьма не сломила меня, она укрепила во мне чувство ненависти и многому научила.

В феврале 1884 года я был выпущен под надзор полиции до окончания дела, а в октябре я был выслан в Тулу под гласный надзор полиции на год. Тут я сразу попал в живую, полную нужды и страданий рабочую среду. В течение этого, памятного для меня, года я с тремя товарищами, И. Гусевым, И. Терешковичем и Ч. Петрашкевичем, усиленно организовывали кружок рабочих на оружейном, патронном заводе и на заводе Байцурова. В то время рабочая среда в массе своей отличалась большой темнотой, потребность в грамоте и элементарных знаниях была огромная, и нам, на ряду с про-

пагандой революционного социализма, приходилось очень много времени посвящать просто обученью. Нам помогали члены организованных нами кружков из учеников духовной семинарии и фельдшерской школы. В то же время мы поддерживали живые сношения с московской народовольческой организацией, откуда получали, хотя в незначительном количестве, революционную литературу для распространения в Туле.

Год прошел быстро. Мы, юноши, стали понимать уже социализм и революцию не только теоретически. Жизнь нас окунула в самую гущу страданий и несправедливости. Мы стали убежденными в своей правоте социалистами-революционерами. Школа жизни подготовила нас к дальнейшей работы лучше всяких книг.

Однако, узнав всю сложность и трудность жизни, мы поняли, что для решения многих ее вопросов необходима и серьезная научная подготовка. Мы с жадностью читали книги, обсуждали их, но системы в этой работе не было. Мы чувствовали, что необходимо приобрести серьезные знания. Когда прошел год надзора, я решил уехать в Ярославский Юридический Лицей и там серьезно поучиться. Там я попал в тесную сплоченную среду студентов-народовольцев, которые вели пропаганду на местных заводах и среди офицеров местного гарнизона. И опять наука у меня ушла на второй план... Недолго я пробыл на воле...

В июле 1885 года я уже опять сидел «у дядюшки на даче», — в ярославской губернской тюрьме, по обвинению в пропаганде среди молодежи. Два с половиной года я сидел в предварительном заключении, в одиночке.

Условия сидения были трудные. Из 15-ти человек шестеро не вынесли и сошли с ума; один, Тихон Бессонов, уморил себя голодом. Никакого дела департамент полиции создать не мог, и тем не менее меня приговорили к ссылке в административном порядке в Якутскую Область в г. Средне-Колымск на 10 лет «за вредное влияние на молодежь»...

«10 лет ссылки в средне-Колымск» за «вредное влияние на молодежь» — так заявил о моем преступлении прокурор Муравьев моему покойному отцу на вопрос о причине ссылки. Мне теперь под шестьдесят, и я стараюсь припомнить, в чем же выражалось по существу то мое вредное влияние на молодежь? Обучал грамоте, арифметике и истории рабочих. В этом вред? Читал студентам 19-го февраля доклад об освобождении крестьян в 1861 году. В этом? Изучал в кружках политическую экономию. В этом? Или, может быть, в том, что я вместе с другими сотнями молодежи любил народ, среди которого мы выросли? Страдал его страданиями? Или в том, что нам было стыдно одеваться и жить лучше, чем народ, которому мы были обязаны своим существованием?

Трудно теперь поверить этому, но гонения на мо-

лодежь вызывались в немалой мере и этим! Правда, мы объясняли всем, с кем приходилось беседовать, преимущества артельной жизни и работы, неправду и зло монархического строя, красоту и справедливость царства труда, социализма, но все это в то время носило характер теорий. Нам тогда — 35 лет тому назад — и не думалось, что мы сможем быстро перейти из царства насилия и неправды в иное, новое царство социализма. Мы думали, что, изменив одни лишь условия труда, мы еще не добьемся главного: чтобы рабочий народ не только понял свои интересы, но и воспитал бы в себе высоко- развитую нравственную личность, человека, думающего не о своих личных выгодах, но о пользе всего трудового народа; и мало того, чтобы понял, а чтобы полюбил свой народ, свою страну и готов бы был за них и жизнь свою отдать. И мы знали, что для этого нужно время, нужна упорная работа, нужно перевоспитать, душу изменить. Книг в то время о социализме почти совсем не было — две-три книжки о рабочем вопросе (Михайлова, Пфейфера, Флеровского), несколько больше о крестьянском вопросе и разные учебники по политической экономии и обществоведению, — и все эти книги были по своей форме почти совершенно недоступны для чтения рабочим. Наша работа сводилась к тому, что мы их излагали простым языком в разных кружках. То-же делал и я, и в этом то, конечно, и было скрыто мое «вредное влияние».

Трудно было молодому, горячему юноше просидеть больше двух лет в глухой ярославской одиночке. В начале я еще занимался, читал и, казалось, что не без пользы. Но прошел первый год, и я с ужасом заметил, что память у меня в корень испортилась. Прочитаешь главу и... начинай с начала, как будто и не читал ее! Стало нехорошо. Бросил читать. Стал ходить взад и вперед по 6 шагов по камере целые дни и думать. Устанешь думать, тайком подымешься на окно и глядишь — глядишь без конца на опушку леса... Невольно замечаешь все, что там делается. Лошадь ли пробежит, корова ли пройдет, пощипывая травку — все интересно, все занятно. Но вот как то вечером я заметил на опушке группу людей. Они остановились, как будто нарочно, против моего окна, потом уселись на траве. Я смотрел с затаенной радостью... Неужели на воле есть товарищи? Когда стемнело, я заметил, что кто-то правильно, с перерывами, зажигает огонек! Я стал считать и вскоре понял, что мне огнями что-то говорят. Тюремная азбука мне была известна, и я быстро привык понимать огоньки... Хитрость невелика! Азбука пишется в 6 строчек по пяти букв, так что, например, буква А, стоящая в первом ряду на первом месте обычно выстукивается ввиде двух ударов, отделенных друг от друга перерывом: тук... тук. Буква, например, М стучится: тук, тук, тук... тук, тук, т.-е., третья строчка и вторая буква. Вме-

сто стука мои товарищи действовали зажиганием огоньков.

Они сообщили мне о товарищах, выпущенных из тюрьмы, о том, что дело скоро кончится, о том, что работу в Ярославле и Москве они продолжают. В течение нескольких дней мы беседовали таким образом, но вскоре это прекратилось...

Наступила зима. Стало холодно, жутко и однообразно: снег покрыл все кругом белым саваном, как будто мы похоронены. В корридоре тихо, только надзиратель в валенках тихонько подходит к волчку в дверях и наблюдает. Но вот однажды я услыхал сдержанный топот многих ног мимо моей камеры. Потом топот бегущего человека в противоположную сторону и душераздирающий крик: «Оставьте меня! Оставьте! Не отравляйте!..». Это Тихон Бессонов вырвался из камеры и, добежав до площадки (это было четвертый этаж), хотел броситься вниз головой. Его «спасли», удержали и опять усадили в камеру под замок, где он продолжал кричать и рыдать... Стало невыносимо. Я чувствовал, что еще одна минута одиночки, и я готов тоже кричать, с ума сходить. И я начал изо всех сил стучать в дверь, звать смотрителя Тальянцева, а в это время внизу надо мною поднял стук студент Мышляев, с другой стороны Тихомиров, еще дальше внизу какой то бродяга стал могучим голосом кричать... Тюрьма обратилась в ад... Вскоре ко мне явился Тальянцев, и я ему заявил резко, — требую, чтобы меня немедленно перевели в другой корридор и посадили вдвоем, иначе я рискую с ума сойти.

— Надо прокурора спросить!

— Никаких прокуроров! Немедленно переведите!

Видимо весь я имел уже такой облик, что заявление мое подействовало, и он сейчас же перевел меня в другой корридор и посадил вместе с Н. Я. Коншиным, — товарищем, с которым я жил вместе на воле во время нашего ареста.

— Ну, и счастье, что тебя ко мне привели! Я готов был уже заразиться этим всеобщим безумием! Знаешь, человек 6-7 с. ума сошло...

Вид Коншина ужасен. Бледный, худой, черный, глаза блестят, как огоньки, движения нервные...

Но нас двое! Мы поддержимся! Проговорив всю ночь, мы заснули здоровым сном, а на утро встали, хоть и измученные, но уже здоровые. Дни потекли иначе. Бесконечные разговоры о философии затягивались до самой вечерней поверки, а затем продолжались шопотом до поздней ночи. Все мучительные вопросы, — о причине всего происходящего, о том, что такое мир, существует ли он в самом деле такой, как мы его видим, или весь мир только наша мысль, что такое правда, справедливость, что такое жизнь и смерть, сила и материя — все эти мучительные вопросы, которые являются у всякого человека, мучили нас в тюрьме особенно настойчиво. Мы много читали, много думали и, обогащая свой ум в этой работе, конечно, ответа на них не полу-

чили... Быстро прожили мы два месяца. В конце 1887 года, если не ошибаюсь, незадолго до Рождества, как-то ночью, в 11 часов, тихонько открылась дверь. Я сидел один. Ко мне зашел страшный смотритель Тальянцев, который наводил ужас даже на самых закоренелых бродяг. Он билъ их. А сила его, этого гиганта, была велика: одним ударом он сваливал человека.

И вот эта фигура появилась у меня.

— Здравствуйте! Позвольте присесть на кровать.

— Пожалуйста.

И Тальянцев вынул из кармана географическую карту.

— Покажите, где это Средне-Колымск?

Я показал.

— Знаете, ваш приговор пришел. Да вы не волнуйтесь. Везде есть люди... Вас высылают на 10 лет. Вы молоды — перенесете...

И этот страшный человек стал утешать меня.

— Ведь все еще может перемениться! Ничего вечного на свете нет...

У него на глазах появились слезы.

Я был поражен и взволнован не приговором, я ждал его, а видом этого человека, его отношением ко мне.

На следующий день вечером меня вывели со «всеми вещами», усадили в кошевни и вместе с партией уголовных арестантов отправили на вокзалъ и увезли в Москву, в Бутырскую пересыльную тюрьму.

Началась новая, артельная жизнь.

Тяжело было ночь не спать, дышать тяжелым воздухом в страшной жаре от железной печки... Трудно было сразу оказаться в таком обществе, в котором я никогда не бывал. Самая мысль о том, что меня вот взяли и смешали с преступниками, как то казалась мне дикой. Думалось: что же общего между мною, хотевшим научить людей чему-то хорошему, полезному, с этим вот Гринькой, который «идет в Сибирь по пятому разу» и все за «нечаянное убийство...». Почему я в Сибирь, и он в Сибирь?.. Или вот рядом со мною сидит бродяга, цыган, раз двадцать попавшийся за увод лошадей у крестьян. Его уже били, и в тюрьмы сажали, и в арестантских ротах бывал, а теперь в каторгу идет на 12 лѣт за то, что «ударил его палкой по головѣ, а он упал и Богу душу отдал..., а вовсе не хотел его убивать! Ну, а тут, гляжу человек все одно — царство ему небесное — пропал, так я уж часы то у него и кошелек взял на память...». И вот этот откровенный конокрад и убийца сидит рядом со мною...

— А ты, сосед, куда едешь? — обратился он ко мне.

— Я по политическому делу, в Сибирь, в ссылку.

— Знаю, знаю! Понимаю! Я с политическими хорошо знаком! В партиях хаживал не раз. Люди хорошие! Постоянно тебе и чаю, и сахару, и табаку!.. Только ведь нашему брату—все мало. Ему что ни дай, а онъ норовит вот тебе непремѣнно еще и

сам взять... Так вот политиков то — ух! — больно хорошо обирали! Аж жалко! Все до нитки отберут и в майдан, а он — молчит! А у тебя сахар то есть?

Я дал ему сахару, чаю, хлеба.

— А ты не бойся! Ты вот дал мне, так я то больше у тебя ничего не возьму, потому у нас порядок такой: кто с тобой рядом — тот как святой, его уж мы не трогаем ни под каким видом! Спи, товарищ, спокойно!

Но я и без успокоений насчет своего имущества был совершенно спокоен: 5-6 книг и одно полотенце — мало беспокойства!

Но все-таки не спалось... Все было ново, дико, непонятно. Я вспомнил прожитое, Тулу, Ярославль, первую тюрьму. Все казалось мелочью по сравнению с будущим. Что же, ссылка в Сибирь не страшна — там то уж можно будет хоть поучиться. Год проживу, а там убегу в свою привычную среду и опять буду работать и смогу народу больше дать знаний. Ведь знание только и поможет ему разумно организоваться для завоевания своего счастья. Тогда не будет и преступлений: не будет причин совершать их...

Ночь прошла быстро. Утром мы прибыли в Москву, где нас пешком повели с Ярославского вокзала на Долгоруковскую улицу, в Бутырскую тюрьму. По улицам народ останавливался, смотрел на нас с любопытством и сожалением. Кое-кто подавал старосте нашей партии хлеб, деньги.

Но вот мы у ворот и через минуту в сборной, где началась приемка.

— Политические есть?

— Есть, один.

— Давай его сюда.

Меня подвели к столу, где сидело несколько надзирателей и помощник.

После обычных вопросов об имени, фамилии, возрасте и сверки моих ответов со статейным списком, меня обыскали и повели по двору и коридорам к часовой башне. Открылась калитка на небольшой дворик, меня пропустили туда. Толстый надзиратель любезно поздоровался и сказал:

— Ну, идите кверху, к своим. Они сейчас обедают.

Я поднялся на третий этаж башни и застал следующую картину.

Круглая камера. По радиусам стоит кроватей 15, кое-где небольшие столики, табуретки, всюду книги.

За большим столом у передней стены сидят человек 20 и обедают. Увидев нового человека, все вскочили, побросав ложки, окружили меня, дружески приветствовали. Начались распросы.

Я узнал многих знакомых по Москве и Ярославлю. Шум, говор совершенно сбили меня с толку, и я на все вопросы отвечал как то вяло, а то и вовсе молчал. Два слишком года абсолютного молчания отучили меня говорить. И я заметил, что мое молчание как то смутило товарищей. Они стали усажи-

ваться опять за стол. Уселся и я. И все молчал, молчал суток трое... Товарищи стали думать, что я не совсем в порядке. Но вскоре прошло, и я зажил по-тюремному, т.-е. стал дежурить по камере, по кухне, возиться с книгами и приглядываться к людям: многие из них приковывали к себе внимание, да, думается, внимание всех нас на них и было обращено.

Вот Николай Львович Зотов, молодой студент Земледельческой Петровской Академии. Он всегда весел, беззаботен, подвижен. Он замечает все и за всеми наблюдает и чуть увидит, что кто-нибудь скучает — он уже около него и старается его развлечь; запоет кто — а он уже подтягивает и всюду вносит особую живость, энергию, организованность. Он — олицетворение сильной воли. Его к смелости и устойчивости приучил его отец. Ничего не бояться и упорно идти к цели — вот его девиз.

Альберт Львович Гаусман уже немолодой. Окончив университет в Петербурге, он продолжал упорно заниматься и стал знатоком юридических наук. Еще будучи в университете студентом, он принимал участие в работе «Народной Воли», а после ее разгона работал как литератор. Однако, при первых признаках оживления революционной деятельности, в 1884 году, он уже опять в рядах работников и организует вместе с Оржехом, Богоразом, Александровым и целым рядом других товарищей, среди который был и Л. М. Коган-Бернштейн, новую попытку возродить партию «Народной Воли». Его двигает на этот путь не столько чувство, сколько ум, приведший его к убеждению, что так именно надо. Если Зотов утверждал свою железную волю работой ума, то Гаусман создал себе волю исключительно умом. Он неразговорчив. Всегда сидит с книгой, — я иначе и вспомнить его не могу, — и читает.

Очертить характер всех встреченных друзей было бы слишком долго, но не могу не остановиться еще на одном — Михаиле Гоц. Он обращал на себя общее внимание. Его задумчивые глаза горели особым блеском. Он всем интересовался, бесконечно много читал, и всегда кругом него группы меняющихся людей. Его особенность — умение заинтересовать других то вопросом философским, то научным, то общественным. Умение быстро понять прочитанную книгу, усвоить и переварить ее далеко не всем дано. Он же обладал им в огромной мере и, наряду с этим, отличался большим практическим умом. Сожители невольно считались с его мнением, ибо оно отличалось всегда разумностью, сдержанностью и целесообразностью.

Жизнь наша протекала спокойно. Утром мы работали, занимались науками до обеда. После обеда рой оживал. Бесконечные споры, часто беспорядочные, о самых трудных и сложных вопросах, обычно оканчивались тем, что мы расходились, оставшись каждый при своем мнении. Но самые эти споры о многом заставляли нас думать. Иногда кто-нибудь читал нам свою работу. Так, помню, как

Л. М. Коган-Бернштейн читал нам отрывки своего труда об «Истории общества», где он доказывал, что общественная жизнь идет всегда к улучшению, прогрессу, но не скачками, а как бы по винту, постепенно поднимаясь все выше и выше. Его мысль вызвала долгие споры и оживленные беседы.

По вечерам, под руководством Россова и Руса, составляли хор; одни пели, другие играли в шахматы или шашки. Одним словом, жизнь протекала спокойно. Но в январе 1888 года среди нас появилась тревога. Из писем товарищей, отправленных в Архангельскую губернию, мы узнали, что с ними обращались очень грубо, часто избивали, но, что всего хуже, в одном письме сообщалось о слухе, будто одну из сосланных женщин где-то по дороге изнасиловали. В одной из отправленных в Архангельск партий были знакомые женщины и среди них жена одного из товарищей, В. Руса. Публика загудела... Сейчас же был потребован для объяснений прокурор, написан протест, но разве эти шаги могли нас успокоить?! В феврале разнеслись вести, что нас всех, в числе 74 человек, будут из Москвы отправлять в Сибирь частями, что женщин отделят от мужчин. Мы, естественно, связали это с вестями об архангельских насилиях и после недолгого обсуждения решили, что с нами в розницу расправятся быстро, если же мы потребуем, чтобы нас отправили всех вместе, то положение наше будет безопаснее. Решено — сделано. Сейчас же написали общее заявление, что отказываемся идти в Сибирь группами и требуем отправки с первой партией всех нас вместе.

Явился прокурор.

— Резолюция администрации окончательная, — заявил он нам, — вы будете отправлены группами.

— Нет, мы будем отправлены все вместе. Иначе мы ни за что не согласимся. Вам придется брать нас силою.

— Ну, так что-же-с! Возьмем!

— Попробуйте!

В тот же день, 2 февраля 1888 года, мы объявили голодовку и приняли решение быть вместе в камере третьего этажа и забаррикадировать двери. Само собой разумеется, оружия у нас никакого не было. Но наиболее горячие товарищи запаслись брусками из под переплетного пресса, поленьями дров и т. п.

Администрация заволновалась. Оставить нас в таком положении? — Нельзя! — Уступить? — Конечно, тоже нельзя. Вывод ясен: надо нас взять силой и рассадить по разным местам.

5 февраля башня была с утра осаждена солдатами и надзирателями, числом не менее 150 человек. Начались переговоры с тюремным начальством, с начальником отряда, с жандармским ротмистром и товарищем прокурора. От нас требовали полной сдачи, мы же требовали полной уступки. Разговоры за-

тянулись до вечера, когда начальник тюрьмы отдал приказ взять нас...

Мы все были наверху. Двери были заслонены кроватями, наваленными друг на дружку табуретками. Длинный стол поставлен у противоположной стены. Мы ждали молча.

Вскоре раздались шаги по винтовой лестнице, застучали приклады ружей в дверь, и она быстро подалась. Перед нами оказался офицер с солдатами, державшими ружья на перевес, как перед боем... Офицер обратился к нам с вопросом, почему мы не хотим подчиниться предъявленному распоряжению тюремной администрации. Один из товарищей подробно объяснил, что, ввиду трудности и опасности путешествия (тогда еще не было Сибирской железной дороги и приходилось идти больше 6.000 верст этапами, большей частью пешком!), мы не можем добровольно согласиться на разделение нас на группы. Офицер нас хорошо понял, поняли и солдаты, но скрывавшийся за их спиною тюремный начальник отдал офицеру приказ: — Что же еще разговаривать! Берите их!

Началась свалка, в которой ни солдаты нас не трогали серьезно, ни мы их, ибо мы взаимно не чувствовали друг к другу, конечно, никакой вражды, да и офицер явно показывал своим поведением, что он вовсе не хочет совершать над нами насилия. Не прошло и пяти минут, как он отдал приказ солдатам уходить... Мы остались опять одни. Стали считать

результаты возни... Среди нас не оказалось одного товарища, которого успели все-таки вытащить и, как мы потом узнали, посадить в карцер. На площадке лестницы не оказалось лампы... Оказалось, что особенно раздраженный на тюремного начальника Штольц бросил в него лампу...

Прошло еще часа два. Двор, окружавший башню, наполнился целым отрядом тюремных надзирателей. Солдат увели. Впереди надзирателей — жандармский офицер и товарищ прокурора рядом все с тем же начальником тюрьмы. Обсудив положение, мы, между тем, решили, что нет смысла продолжать сопротивление при таком неравенстве сил и надо войти в переговоры. Мы сами вышли во двор. Началось долгое объяснение... во время которого мы незаметно были окружены двойным кольцом конвоя... Объяснения привели к обещанию прокурора рассмотреть дело подробно и серьезно и удовлетворить нас. И закончил он свою речь обращением к надзирателю:

— Выводите каждого врозь!

Нас стали по списку вызывать и выводить со двора...

Пятеро оказались в карцерах, одиннадцать человек, в числе которых был и я, в одиночных камерах одной из башен, все остальные были переведены в общий корпус и помещены в отдельном коридоре с тремя большими камерами. Для каждого кровать, небольшие столики, табуретки.

Мы быстро освоились с новым положением, и нельзя сказать, чтобы мы плохо себя чувствовали в течение марта и апреля. Ежедневно приводили к нам все новых и новых административных ссыльных со всех концов России. Мы всякого расспрашивали о настроениях на местах, и у нас получилось впечатление, что хотя организации партии «Народной Воли» всюду разбиты, но в народной массе идет то глухое, святое недовольство жизнью, которое в конце концов неизбежно приводит к переменам, к улучшениям жизни. Конечно, мы знали, что тяжелая жизнь народа не может сразу повернуться в райскую, но мы видели, что труды нашего посева не пропадают зря. Мы поэтому бодро смотрели на будущее и упорно готовились к нему, укрепляя свой дух, расширяя знания. С воли о нас заботились. Нужды в пище и одежде мы не ощущали. Все было дешево, доступно. Но кроме того, что нам посылали родные и друзья, мы и сами старались заработать. В. А. Гольцев, бывший профессор Московского университета, прислал нам для перевода книгу французского ученого Летурно «Социология», и мы ее усердно переводили... Трудно было пересылать ему перевод. Через начальство? Пропадет, да и скандал целый поднимется! Мы столковались с одним хорошим надзирателем, и он тайком понемногу перетаскивал нашу работу на квартиру В. А. Гольцева. Впоследствии эта книга была напечатана под его редакцией.

Время шло быстро. Приближалось 5-е мая, день, когда из Московской пересыльной тюрьмы отправлялась в Сибирь первая партия, в которую и нас могли включить. Мы волновались, боялись, что нас разделят на мелкие группы, опасались, что женщин отправят отдельно от нас с бродяжеской партией... Что значат наши угрозы: «Возьмите нас силой»? Ровно ничего! Мы все измучены двух-трех-летней тюрьмой, слабы, безоружны, а кругом нас стены, замки, цепи, вооруженные люди... И все таки мы были какой то силой. Спаянные одной мыслью, мы заставляли считаться с собой. Мы знали, что мы в их руках, и в то же время наши тюремщики понимали, что в случае нашего упорства произойдет слишком большое общественное недовольство, протесты...

Нас к концу апреля накопилось уже больше 70 человек, и это тоже придавало нам некоторую веру в успех.

Приготовления к далекому пути были в полном разгаре. «Красный Крест», общество помощи политическим заключенным, снабдил нас необходимой одеждой, деньгами. Наш староста, студент Петровской Академии Г. П. Клинг, работал не покладая рук, распределяя пиджаки, белье, верхнюю одежду, чемоданы. Это сопровождалось нередко курьезами. Так, прибыли к нам два гвардейских солдата Преображенского полка, балтийские немцы, Гиркани и, если не ошибаюсь, Бауэр. Оба огромного роста,

крепкие, чужие нам люди. Они попали в ссылку по делу об оскорблении какого то великого князя в пьяном виде. Народ бедовый. Они сразу почувствовали, что тут можно поживиться и затеяли скандал со старостой:

— Дай нам одежду по росту, да новую! Почему мы хуже других! Почему нам дают старую? А если нет новой, давайте нам по две пары: мы в Сибири продадим, другую купим.

Ничем нельзя было их убедить, что так нельзя. Клингу пришлось принять героические меры. Он отобрал у них все, что выдал, заявил, что они ничего не получат и этим заставил их смутиться.

Но были и другие неприятности, гораздо более тяжелые. К нам привели некоего Воскресенского-Крылова. Приказчик замосковских лабазов, довольно интеллигентный, он давно работал в качестве пропагандиста среди штундистов, несколько раз попадался, будучи нелегальным, в руки полиции, но успел в последний раз бежать из поезда, спрыгнув с площадки вагона на полном ходу. Но вскоре после этого вновь был арестован, в связи с арестом покойного Германа Лопатина, и посажен в Петропавловскую крепость, где просидел около 2 лет и теперь высылался в западную Сибирь на три года. Не успел он войти в камеру, как я заметил, что среди некоторых товарищей возникло какое то беспокойство. Они собрались в соседней меньшей камере и долго что то обсуждали. В этой группе были П. А. Муханов,

Л. М. Коган-Бернштейн, А. Чумаевский, И. Е. Булгаков и др. Вскоре и я был посвящен в суть дела. Оказалось, что Воскресенский-Крылов, по показаниям П. Муханова и других, вел себя на допросах более, чем откровенно. Что это было — трусость с его стороны, или продажа совести за деньги, — нам не было известно, но факт был установлен несомненный: он выдавал. Как быть? Общее мнение было такое, что такого человека в своей среде терпеть нельзя, и мы, конечно, сейчас же потребовали бы от тюремного начальства его удаления. Но тут вмешалось новое обстоятельство. Крылов был сильно болен, а затем все мы знали его последнюю жену, человека в высшей степени честного и хорошего. Она, конечно, не знала о деле своего мужа, и нам бесконечно жаль было поставить вместе с ним и ее в безвыходное положение изгнанием его из своей среды. После долгих споров мы приняли решение — исключить его из нашей политической среды, но позволить ему пользоваться выгодами нашей артельной жизни, для того, чтобы не ставить его жену в ложное положение во время пути. Мы надеялись, что он поймет наше решение и постарается сам отделиться от нас совершенно. Впоследствии это не оправдалось. Он оказался грубым и нетактичным человеком, и на пути нам пришлось его совершенно изгнать из своей среды.

Приближалось 5-е мая. Мы были готовы к пути и ждали решительного момента — разделят нас на

группы по 10 человек или отправят вместе. 4-го мая нам всем дали прощальное свидание с родными, и нам стало известно, что мы все вместе будем отправлены.

С песнями, в веселом настроении, мы выходили из своего коридора в сборную залу, где нас принимал конвой. Тут же были и женщины, приведенные из Пугачевской башни. Среди них были три приговоренные к каторжным работам — Екатерина Тринидатская, Надежда Сигида и Устинья Федорова. Наше общее внимание было обращено, конечно, на них. Все они были осуждены по делу тайной типографии в Ростове-на-Дону, где печатался последний номер «Народной Воли», выпущенный в 1884 году группой партии «Народной Воли», в которую входили Б. Оржех, Вл. Богораз (Тан), Сигида, Коган-Бернштейн, А. Гаусман и другие. Хозяйкой этой типографии была Тринидатская, с ней жили в качестве родственницы Н. Сигида и в качестве горничной У. Федорова. Эта квартира была центром, где хранилось много вещей, туда же приходило много нелегальных. Не знаю как, но квартиру эту выследили и явились с обыском. Дома застали одну Федорову, которая притворилась ничего не понимающей, на вопрос жандармов о хозяевах сказала, что не знает, куда они ушли. Во время обыска она ловко вышла в другую комнату, и, если не ошибаюсь, выскочила в окно и бежала, но вскоре была арестована на вокзале в мундире гимназиста.

Тринидатская, жена учителя гимназии, образованная и уже немолодая, обратила на себя внимание своим измученным видом и несколько странным поведением. Смотрела на нас всех как то исподлобья, недружелюбно, подозрительно. Наконец, Надежда Сигида — молодая, крепкая, веселая, она приковывала к себе внимание своей какой то необычайной добротой и открытостью.

В сборной стоял шум. Товарищи знакомились, сообщали друг другу о всем пережитом за время долгой разлуки. Но три каторжанки думали о другом. Они решили во что бы то ни стало бежать. И тут же, в сборной, У. Федорова заявила М. Гоцу, Г. Клингу и некоторым другим, что она непременно убежит и требует помощи. Насилу удалось ее убедить, что об этом надо будет думать во время пути. Успокоив ее насчет того, что на такие случаи у нас припасены деньги, паспорта, пилки для подпиливания решеток и т. п., и что по дороге мы ей поможем, мы добились того, что она пока оставила об этом говорить. Намерение бежать высказали и другие две каторжанки. Были кандидаты на побег и среди нас, которые готовы были сопровождать во время побега женщин. Наконец, нас стали выводить из сборной на улицу. Окружили двойной цепью конвоя.

— Марш! — и мы пошли... в неизвестное.

На углу Долгоруковской улицы собралась толпа родных и знакомых, но нам уже не давали с ними говорить. Мы видели, что наши матери, сестры, бра-

тья невыносимо страдают... Многие из них плакали. Они готовы были броситься к нам, обнять нас, может быть, навсегда... Но двойная цепь винтовок, жандармы густо нас окружали и увели прямо на вокзал, где сразу же поместили в арестантские вагоны. Нас было около 80 человек; уголовных преступников около 300.

На вокзал проникли наши родные, и мы, чтобы их успокоить, утешить — говорить было нельзя — запели хором наши старинные песни — «Дубинушку», «Вниз по матушке по Волге» и др. Наши песни произвели, конечно, далеко не веселое впечатление... Мы видели, когда поезд тронулся, что многие из провожавших нас рыдали... Да и мы както сразу почувствовали какую-то тяжелую, невероятную грусть... Но мы пели...

Мы старались заглушить неотвязную думу о том, что нас оторвали от всего дорогого, милого... Оторвали надолго, может быть навсегда! Многие-ли из нас вынесут этот тяжелый путь, долголетнюю ссылку в сибирские дебри, снега, холода, голод, безлюдье? За что? За что нас гонят из бесконечно дорогой, любимой родины? Кто нас гонит? И невольно грусть, тоска превращалась в озлобление на тех, кто имеет власть и силу; мысль обращалась все к тому, что мы жертвы неравной борьбы и должны крепко и смело итти навстречу испытаниям.

И как будто отвечая нашим настроениям, Николай Львович Зотов могучим голосом затянул:

Вы жертвою пали
В борьбе роковой!
. . . .
Но настанет пора

подхватили мы

И проснется народ!

Мы верили, что время это настанет, и что мы хоть каплю вносим в пробуждение народа своей жизнью, работой, изгнанием.

В вагоне мы вскоре разбились на группы. У. Федорова шепталась все о том же: бежать, во что бы то ни стало бежать, учиться надо, надо работать! Мы вырабатывали план побега каторжанок. Это было трудно. Невольно казалось, что чем дальше мы идем, тем будет труднее выполнить задачу. Вся мысль направлена была на обстановку. Но в поезде мыслимо было только одно — броситься в окно на ходу, предварительно выпилив решетку. Но это трудно. За нами зорко следит конвой, да и не хотели мы рискнуть так, сломя голову. Нам казалось, что будут более удобные моменты.

На следующий день наш поезд прибыл в Нижний-Новгород к пристани, и нас сейчас-же перевели на баржу и посадили на паром. Началось путешествие по Волге и Каме. Дело побега затруднялось. Надежды были на Уральскую железную дорогу. Там, при перевале через Урал, поезд двигается медленно, над-

зор, вероятно, ослабеет, по мере того, как конвой к нам привыкнет, да и мы успеем подготовиться.

Но и на барже Федорова не успокаивалась. Думала выпилить решетку и броситься в воду. Но и тут мы отговорили ее. Путешествие летом по Волге и Каме успокаивало. Как-то забывалось все прошлое и будущее. Жили красотой берегов, красотой зрелища. Только изредка в нашу жизнь вносилось новое впечатление.

В Уржуме к нам подсадили двух новых товарищей: одного местного деятеля, за пропаганду среди рабочих присужденного к ссылке, и крестьянку из Уржумского уезда, жену нашего спутника Ярцева. Последняя произвела на всех нас, никогда не бывавших в этих местах, впечатление новизной своего внешнего вида. Весь ее костюм носил местный отпечаток. Короткая юбка из ситца в крупных цветах и сверху теплая ватная кацавейка, сшитая в талию со сборками сзади, пестрый головной платок, как-то по особому повязанный. Мы смотрели на нее, однако, не только как на красивый тип... Некоторые из нас сразу соображали, что этот костюм весьма хорошо подойдет к У. Федоровой, если понадобится.

Не помню, сколько времени мы плыли по рекам, затем вновь пересели на железную дорогу, Уральскую, помню только, что не переставая шел разговор о необходимости помочь побегу каторжанок. На Уральском перевале мы еле-еле удержали их, особенно Федорову, от попыток прыгать с поезда.

Наконец, мы добрались до Тюмени... Нас вновь посадили на баржу, на которой мы должны были ждать дальнейшего путешествия. В Тюмени нам удалось устроить исчезновение Уст. Федоровой. Побег был интересен...

Сейчас-же после прибытия в Тюмень нас всех перевели на баржу и поместили в трюм. Был конец мая.

Душно и жарко в трюме. Манит солнышко, манит чистый воздух, гладь речной воды. Необходимо во что бы то ни стало поговорить с капитаном, чтобы позволил проводить время на палубе, окруженной решеткой и охраняемой со всех сторон часовыми. Наш староста, Клинг, отправился для переговоров и, чтоб добиться права гулять на палубе, вынужден был дать слово, что никто не убежит... Трудно было это сделать Клингу, который знал о готовящемся побеге. Но что делать?

Итак прогулка на палубе разрешена. Мы все высыпали из трюма и расселись по всем уголкам палубы. Немного нужно было времени, чтобы оглядеться.

Наша баржа кормой причалена к корме другой баржи, стоящей у самого берега и служащей временной пристанью. С самого утра к нам на корму стали приходить группами местные крестьянки, приносившие для продажи творог, шаньги, зелень и т. п. Костюмы крестьянок очень похожи на костюм жены Ярцева. Осмотр постов обнаружил, что на обоих бортах имеется по часовому, на носу и на кор-

ме. Настроение часовых хорошее. Они охотно вступают в беседу, угощают табачком и разной мелочью. Нас пускают всюду. Мы ходим чаще всего на корму, чтобы купить продуктов.

Это не обращает на себя особого внимания. Людям пить-есть надо, ну и покупают. Все эти наблюдения сразу же показали, что здесь можно попытаться устроить побег одной из каторжанок.

Наскоро собралась небольшая группа товарищей — М. Гоц, Г. Клинг, А. Гаусман, Н. Зотов, и нами быстро был выработан план — переодеть У. Федорову в костюм крестьянки, дать ей в руки тарелку с творогом, закрытую платочком, и предложить ей в момент, когда на корму придут торговки, и мы станем с ними торговаться, вмешаться в толпу и вместе с ними уйти спокойно на берег...

План рискованный, сильный, ибо часовой может заметить и либо дать тревогу, либо заколоть... Рискованный, но возможный.

У. Федорова сейчас-же согласилась выполнить его, хотя-бы и пришлось рискнуть головой. Нам оставалось по возможности ослабить опасность и устроить так, чтобы побег, если он удастся, был открыт конвоем как можно позднее, для того, чтобы Федорова успела уйти подальше. Мы решили прежде всего занять всех часовых разговорами, песнями в тот момент, когда Федорова должна будет рискнуть. На палубе, обращенной к берегу, часового взялся занять покойный А. Гаусман, на другой палубе и носу — двое других товарищей, а на корме вести торговлю с крестьянками, мыть посуду, занять часового должны были я, Вера Гасох (Гоц), а Шехтер (Минор) и еще несколько человек. Оставалось назначить время побега. Выбрали следующее же утро, чтобы не откладывать и не обратить на себя внимание. Таким образом план побега готов. Но этого мало, надо было считаться с ежедневными поверками утром и вечером. Нас не заставляли вставать на поверку в строй. Старший унтер-офицер считал утром на палубе, во время прогулки, а вечером в трюме, когда мы располагались на нарах. Чтобы не дать часовым и старшему освоиться с лицами каторжанок во время прогулок, их старые халаты накидывали на себя другие женщины и часто не три, а четыре, а вечером, на поверке, У. Федорова улеглась на нары и закрылась так, чтобы ея лица не было видно. Ее окружала на нарах группа товарищей, ведших оживленную беседу. Поверка прошла благополучно. Унтер насчитал ровно столько, сколько надо было — 72 арестанта. Наша мысль была — и на следующий день во время вечерней поверки улечься вокруг У. Федоровой, а ее закрыть опять халатом, как хворающую.

Наступило утро. В 6 часов Федорова переоделась в костюм Ярцевой, взяла тарелку с творогом, а мы все, участники, заняли свои посты.

Наступил решительный момент. Мы старались сохранить внешнее спокойствие и ничем не выдать

серьезности положения. Я занял свое место на корме и мыл посуду, зорко следя за поведением часового, стоявшего у самого прохода с нашей баржи на другую. Другие товарищи, Анастасия Шехтер, Вера Гассох, М. Гоц и Н. Л. Зотов всячески отвлекали внимание часового, занимая его разговорами, особенно в то время, когда стали появляться на корме торговки. Мы старались всячески производить как можно больше движения на корме, усиленно торгуясь с крестьянками и подыскивая момент, когда бы Федоровой можно было незаметно выйти на корму и начать нам предлагать тарелку с творогом.

Торговок появилось уже довольно много.

— Тетенька, почем яйца?

— Тетенька, чего стоют шаньги? Сколько за творог? Ну ладно, давайте сдачу с рубля. — Нету-ти! Сходи, принеси медных!

Разговор торговый шел во всю. Одни торговки приходили, другие уходили. Одни тарелки переходили к нам в руки, другие возвращались к торговкам. А в это время часовых занимали в разных пунктах; особенно около нас старались отвлечь его внимание так, чтобы взоры его были обращены в сторону от досок, по которым проходили торговки.

Но вот момент выбран. Незаметно появилась Федорова; у нее в руках тарелка. Разговор короткий. Надо спешить.

— Сколько за творог?

— Двадцать копеек. — Уплачено. Тарелка взята... Часовой отвернулся, чтобы закурить папиросу... Мне показался этот момент вечностью. Мы замолкли... Устинья Федорова смело идет рядом, около часового. Вот она уже на другой барже... Мы, затаив дыхание, продолжаем, как ни в чем ни бывало, торговаться, работать, говорить, шутить... А в душе вопрос: что с ней? Удастся-ли ей выбраться с баржи на берег? Она по нему должна пройти. Мы ее увидим! Прошло не больше 1½ минут. Я побежал на палубу, с которой виден высокий берег.

— Ушла, шепнул я Гаусману и Руссу. Они взглянули на берег, и в этот момент мы увидели, как она по краю берега спокойно, неторопливо шла... Не удержались бывшие здесь товарищи и бойко, вдохновенно запели дубинушку... Ушла! Но дойдет-ли туда, в Россию, за-границу? Что будет с ней, молодой, энергичной, смелой? Что ждет ее в жизни?

Минут через десять я пошел по поручению товарищей предупредить некоторых, не знавших о побеге Федоровой, чтобы они ее не звали громко по имени. Я подошел к А. В. Быстрицкому. Осторожно разбудил его и говорю тихонько, на ухо:

— Александр Васильевич! Знаешь, Усти здесь больше нет. Она ушла. Когда выйдешь на палубу — не зови ее!

— Что ты дуришь! Чего выдумываешь? Это невозможно! Она бы сказала мне! Да и неправда это! Не верю! На кой чорт ты меня обманываешь!

— Да нет, ты успокойся, не шуми! Это правда,

будь осторожнее, чтобы другие не обратили внимание. Иначе можем ей повредить.

А. Быстрицкий, обиженный, умолк. Быстро оделся и пошел бродить по барже, чтобы убедиться, что я не подшутил над ним.

Другие товарищи, узнав о событии, были бесконечно рады, но некоторые — нечего греха таить — были недовольны.

— Это безнравственно, — горячились они, — подвергать риску целую группу людей, чуть ли не 75 человек, из-за спасения одного, да и может быть не лучшего. Вы обязаны были всех нас спросить, согласны ли мы, чтобы при таких условиях устраивать побег.

— Да и как вы посмели устраивать его, — горячились третьи, — когда дали капитану слово, что никто не убежит? Это безнравственно.

Мы молча выслушивали упреки, ибо наперед предвидели их. Отвечать — значит спорить, горячиться. Крик, шум поднять... А нам надо все сделать, чтобы побег скрыт был подольше. Ну, и отмалчивались...

День прошел в возбужденном состоянии. Наступил вечер. Поверка идет. Наскоро мы сладили чучело, уложили его на месте, которое занимала Устинья Федорова, прикрыли чучело серым халатом и, севши на корточки кругом него, читали вслух какой-то рассказ. С трепетом ждали поверки. Решетка наконец открылась. Вошел старший с ефрейтором,

остановился у двери и глазом сосчитал арестантов. То же проделал ефрейтор и, подняв руку к козырьку, доложил старшему:

— Семьдесят пять!

— Ну, вот насчитал! Их 74, а ты уж и 75 сосчитал. Ну, ладно! Верно. Все на месте. Спокойной ночи.

— Ух! — Мы спокойно вздохнули. До утра. А там опять волнение перед поверкой...

Так мы прожили 11 дней. Вплоть до Томска, где кончалось наше плавание по рекам, два раза в день мы волновались. Одно время, день на 7-ой или 8-ой, даже сами хотели заявить об исчезновении Усти... Но воздержались.

Побег был открыт в Томске.

В середине июня 1888 года мы подплывали к Томску. Настроение тревожное. Сейчас разразится буря. Побег будет открыт очень быстро.

На барже, как только мы причалили, появилась приемочная комиссия и новый конвой. На палубу притащили стол, статейные списки, уселись полицмейстер, прокурор, офицер и наш капитан Мукалов. Нас выстроили отдельно от уголовных и начали вызывать по фамилиям, сначала каторжанок.

— Екатерина Тринидатская!

— Здесь! — Она вышла и встала в сторонке.

— Надежда Сигида!

— Здесь!

— Устинья Федорова!

Молчание...

— Устинья Федорова! Выходите скорее! Не задерживайте!

Молчание...

— Федорова! Федорова! Где же она?

— Не знаем! Вероятно ушла куда-нибудь!

Долго ее звали. А ее все нет и нет. Мукалов вскочил, побежал к уголовной группе и там стал ее вызывать. Оказалось, Федорова есть, но не та.

— Старший! Где Федорова? На поверке была?

— Так точно была! Уттром видал ее, сам подавал ей воду умываться!

— Отыскать ее! Может она в трюме спряталась?!

На глазах Мукалова слезы. Плаксивым голосом он обращается к нам:

— Скажите, где же она?

— Не знаем! Откуда нам знать?

— Что же вы со мной делаете? Губите меня! Ведь мне отвечать за нее придется.

Поиски длились долго, но, конечно, ни к чему не привели.

Наконец водворилась тишина. Комиссия продолжала приемку. А мы думали, что-то дальше будет?

Яркий солнечный день. Нас вывели с баржи, на берегу мы расположились отдельной группой. Густая цепь конвоя кругом. Лица серьезные, озлобленные. «Одна убежала; кто их знает, может еще кто побежит?».

Товарищ М. Барчинский вытащил свою скрипку, заиграл веселую песню, и мы ее подхватили.

На душе было легко. Устинья ушла!

Через некоторое время нас повели пешком к тюрьме, где мы должны были до дальнейшей отправки уже на места, кто по Западной Сибири, кто на Восток, пробыть дней 8-10.

У ворот тюрьмы мы остановились, и наш староста, подозревая, что партию хотят сразу разбить, заявил, что нам необходимо сначала осмотреть камеру, в которую нас хотят поместить.

После долгих препирательств и приезда полицмейстера, нам показали камеру, и мы согласились в ней остановиться. Но не успели мы войти, как, вопреки обещанию, камеру заперли на замок. Положение было затруднительное... В камере не было ни воды, чтобы умыться, ни необходимого места. Да и заперты мы были вместе, женщины и мужчины, что тоже представляло мало удобства... Начали стучать в дверь... Ни ответа, ни привета. Часовой у дверей с винтовкой молчит. Подымаем стук более энергичный. Ничего! Тогда Н. Л. Зотов решает просто:

— Высадим двери! Нельзя же людей оставлять в таком положении — ни еды, ни воды, ничего!

Недолго мы в те времена рассуждали. Вынули из нар длинную плаху, раскачали ее во всю и давай двигать дверь! Это подействовало. Сейчас-же прибежал кто-то и отпер дверь. Через нескоторое время прибежал прокурор и, запыхавшись, стал говорить успокоительным тоном:

— Что же это вы!? Ведь это бунт! Нельзя дверей ломать! К тому же я не приказывал запирать вас.

Но дело уже было сделано. Двери открыты, и мы в корридоре, часовой удален от камеры. Наша жизнь быстро вошла в колею. Стали готовиться к пешему путешествию от Томска до Иркутска.

В то время железной дороги не было. Предстояло пропутешествовать 2.500 верст! Но мы были молоды. Нас мало смущали трудности. В конце июня мы тронулись. Партия уголовных, семейных и нас, следовавших на восток, человек свыше 40. Для багажа были нам даны подводы, на которых мы и посиживали во время пути, когда уставали. А женщины почти всю дорогу ехали. Конвой вел нас по всем строгостям. Цепь нас окружала и наблюдала за партией очень зорко. Дорога, по которой мы двигались, пролегала по густой тайге. Стоило только прорваться сквозь цепь — и прощай! Солдаты предупредили нас, что при малейшей попытке к побегу они будут стрелять по всей партии. Они были враждебно настроены, особенно к нам, и не раз, бывало, нам приходилось жутко. Так в одном месте, при переходе через мост, М. Гоц с кем-то из товарищей заговорился и ушел довольно далеко, шагов на 100, вперед. Их остановил старший, раскричался, вытащил револьвер и стал грозить. Еле-еле удалось его уговорить.

Путь был тяжелый. Ежедневно в пыли и жаре мы двигались сквозь тучи мошкары, невыносимо грызшей нас. Эта злая мелкая мошка тучами несется за нами, тучей плывет впереди нас, и нет возможности спастись от ее острых уколов. Она лезет в уши, в глаза, в нос, в рот и в ворот... Сетка из волос лошадиных тоже не помогала, сквозь петли всюду забиралась мошка! Сначала спасало гвоздичное масло, запах которого она не переносит, но у нас его было очень мало. И мы начали по примеру ямщиков мазаться жидким дегтем...

По дороге далеко не всегда было спокойно и удобно. Этапы, где мы проводили для отдыха целые сутки, отличались необычайной грязью. Стены, полы, нары полны клопов, блох и вшей. Этого этапного отдыха мы боялись, как огня. Лучше бывало на ночевках. Полуэтапы были вновь выстроены, обыкновенно расположены на краю деревни, а иногда просто в поле. Но подходила вторая половина августа. Темнело рано. По ночам становилось невыносимо холодно. Приходилось топить железные печки, а дров достать было трудно. Конвой не давал, и это вызывало нередко крупные столкновения. На помощь приходил Н. Зотов. Он всегда действовал решительно.

— Конвойный! Лампа не горит, дайте другую.

— Так вот тебе и дали. Не горит, стало и так ладно.

— Так не дадите? Тогда мы загасим вовсе.

— Попробуй!

Но у Зотова уже полено в руках. Он замахивается

на маленькую жестяную лампочку и расплющивает ее в лепешку.

— Чего ты делаешь? Бунтуешь! Ста-а-ар-ший!

Прибегает унтер с конвоем. Начинается крик, руготня. Мы молчим и ждем от разозленных солдат расправы. Но все как-то успокаивается, и через несколько минут с ругательствами сами несут другую лампу.

Но нам холодно.

— Конвойный! Дайте дров!

Но дров не дают. Их мало на дворе. Дрова нужны всем... и конвойным.

Между тем холодно. Надо чай сварить. Все тот-же Н. Л. Зотов решает вопрос просто — берет из нар доску, разбивает ее на щепы, и печь пылает!

Тепло, уютно... Напились чаю с хлебом, усаживаемся на нары и приступаем к чтению вслух. Книг у нас было мало, но мы все любили читать Г. И. Успенского. Он своим бесконечно правдивым и любовным отношением к народу и правде отвечал нашему настроению. Обыкновенно читала вслух Тринидатская, иногда Надежда Сигида, иногда я. Но чтение не затягивалось долго.

В 5 часов утра все ведь должно быть готово к дальнейшему пути. Поэтому в 9-10 часов вечера мы уже укладывались... Но кто знает, сколько на этих нарах проведено бессонных ночей! Сколько мучительных дум... Все дорогое уходит от нас, по мере того, как мы придвигаемся к месту ссылки, становится все темнее ночь, все холоднее, безлюднее, молчаливее. Люди другие. Вот мы идем уже по Бурятской Степи. Здесь уже все чаще и чаще встречаются буряты. Они нас не понимают — мы их. Пытливый ум стремится все видимое осмыслить, понять, но где же тут добиться этого! Нет же возможности уйти из под конвоя вглубь бурятской жизни. Мы рабы... царского строя пленники... Надо его побороть!.. Надо освободить весь народ от вековых цепей, которые держат его в невежестве, полудикости... Надо добиться воли для народа, но без его собственной помощи, что мы, маленькая кучка интеллигенции, можем сделать? Но как же добиться, чтоб народ понял свой интерес в борьбе за волю? Как пробудить его дух? И надо сказать, в то время, мы смотрели на себя, как на кучку людей, цель которых только в том, чтобы будить других, привлекать новых отдельных людей в надежде, что чем нас будет больше, тем легче нам будет проникать и на заводы и в деревню для того, чтоб звать к пробуждению и массу народную.

Среди нас были двое из первой группы социалдемократов, Теселкин и Харитонов. Они уже смутно чувствовали, что и в России огромная роль в будущем принадлежит пролетариату и свою работу в Петербурге вели, главным образом, среди фабричных рабочих, но мы, примыкавшие к «Народной Воле», всегда говорили им — вы ошибаетесь, Россия крестьянская страна, надо идти в деревню, ее просве-

щать; без крестьянства мы не добьемся ничего, нужно его разбудить. Начинались бесконечные ночные разговоры, споры, которые тянулись шопотом, на нарах, до самого утра...

Свисток. Надо подниматься, двигаться дальше.

— Сколько еще верст до Иркутска? Эх, надоело. Скорее бы до нашего гиблого места!..

И мы опять двигались вперед в неизвестную даль. Впечатления становились тяжелее. Чем то зловещим пахнула на нас встреча на одном из этапов, недалеко от Иркутска, с возвращавшимся после трехлетней ссылки в Россию из Якутской области О. Рубинком.

— Гоц, Минор! Вас зовет на свидание какой то человек! — кричит конвойный. Мы бежим навстречу. Вот он! Рубинок!

Но куда девалась его милая улыбка? Он смотрит на нас исподлобья, жутко.

— Я решил вас увидать, чтобы предупредить о том, что вы должны там, в Якутске, делать. Вы должны протестовать против насилий! Нас там избивают, мучат в невыносимых условиях... Впрочем, вы сами скоро все увидите... Вы помните у Шекспира сцену бури? Лес шумит, буря, гроза, гром... У него волосы на голове дыбом встали...

Мы были ошеломлены резким переходом его разговора. Мы молча слушали, как он цитирует наизусть Шекспира восторженным тихим голосом. Глаза зловеще заблестели. Я пытался остановить его, но куда

тут! Он продолжал говорить все быстрее, страшнее и вдруг, оборвав, повернулся и крикнул:

— Я буду самозванцем! Подыму народ! Так помните! Вы должны протестовать!

И убежал, не попрощавшись...

Мы, ошеломленные, стояли несколько минут. Мы поняли, что там, в Якутске, с ним произошло что-то жестокое; мы поняли, что бедный Рубинок свихнулся...

С тяжелым чувством мы шли к Иркутску. Да и трудно стало. Пошли морозы, снега.

Но вот, наконец, и Иркутск.

Человек во всякое дело втягивается, привыкает и приспособляться к нему. Так и мы втянулись в путешествие по этапам, привыкли ко всем неудобствам, и, если нередко происходили недоразумения с конвоем или этапным начальником, то и к ним мы привыкли совершенно так же, как в этапной грязи, клопам и вшам, которые ели нас поедом. Долгий тяжелый путь затупил все наши чувства, и только описанная мною встреча с О. Рубинком оставила сильную душевную тревогу.

Итак, мы дошли до Иркутска. По дороге нас уже хватали заморозки. Начиналась распутица. А предстояло недолго отдыхать в Иркутской пересыльной тюрьме и двинуться дальше в Якутск, до которого опять придется тащиться около 3.000 верст!

Настроение товарищей, которых мы застали в Иркутске, приподнятое. До них уже тоже дошли слухи об избиениях ссыльных в Якутске, о том, что ссыльных не оставляют жить в городе, а поселяют в отдаленных улусах (волостях), среди сплошного якутского населения, в условиях, лишенных малейших культурных удобств. Бесконечные беседы на эту тему взвинчивали и наше настроение, и, таким образом, среди нас создавалось убеждение, что нам предстоит как-нибудь протестовать против насилий и глумления.

В половине сентября нам объявили, что на-днях нас приказано отправить так, чтобы мы на последней барже («паузке») доплыли в Якутск. Для приготовлений в дальний путь нашим старостам разрешили ходить с конвоем в город для закупок пищи и одежды. Мы этим воспользовались, чтобы повидаться с местными ссыльными, которых тогда в Иркутске было довольно много. П. Ф. Николаев по делу Каракозова, Г. М. Фриденсон по делу 22-х народовольцев, инженер А. Лури по делу польской партии «Пролетариат» и несколько других своими рассказами подтверждали наши опасения и предупреждали, что путь будет очень труден.

Наступил вечер 17 сентября 1888 года. К воротам тюрьмы поданы тарантасы, с прекрасными сибирскими лошадьми. Дождь пополам со снегом. Резкий ветер. Настроение осеннее. Нас, после прощания с оставшимися товарищами, идущими по Иркутской

губернии, и с каторжанками, которыя вскоре должны быть отправлены в Нерчинск — заводский округ Забайкальской области, — осталось 22 человека. Уселись мы в тарантасы по двое при двух конвойных, впереди всех тарантасов офицер Карамзин с фельдфебелем, сзади наши охранители — два жандарма. Целый обоз!

Загикали ямщики, и мы понеслись по направлению к первой станции, если не ошибаюсь, Оек.

Мы приблизились к ней к вечеру и уверены были, что здесь уже переночуем. Но не тут то было! Офицер послал нарочного вперед, чтобы готовы были лошади для дальнейшей езды. Были поданы уже не тарантасы, а простые одноконные телеги. Никакие наши протесты не помогли.

— Тарантасов здесь нет! И ночевать нельзя — надо торопиться. Видите, какая погода! Пойдет по реке шуга (мелкий лед), размоет дороги и застрянем!

Делать нечего, двинулись, чтобы скорее добраться в с. Жигалово на р. Лене и погрузиться на баржу. Между тем по деревням ходили слухи, что «водяного пути» нет уже, что на низу, по реке, пошли «забереги» (лед у берегов), шуга!

— Куда едете-то? Нешто теперь время? Натерпитесь до сыта! Дорог-то ведь нету. Однако, придется ждать рекоставу!

Но офицер не верил. Гнал и гнал нас к Жигалову, думая, что мы все-таки успеем к последнему

сплаву. 300 верст мы сравнительно быстро проехали. Подъезжая к Жигалову, сведения о дороге получались все менее утешительные. По реке идет лед, а кое-где ниже есть даже заторы, т.-е., сплошные скопления льда. Было очевидно, что речного пути нет. Но офицер у нас был храбрый. Он решил ехать по просекам, вдоль реки по левому берегу... Это было нечто ужасное прежде всего потому, что во многих местах дорог вовсе не было, а приходилось на розвальнях складывать багаж и тащиться по речной прибрежной гальке; на тех же розвальнях мы разместили кое-как женщин, а сами или ехали верхом или шли пешком. По льду, «заберегам», ехать было опасно. Лед мог легко провалиться. Но это некоторых не останавливало.

Наш товарищ, казак Ив. Цыценко пренебрежительно смотрел на сибирских лошадей.

— На такого коня не сяду! Поеду забереrой на санях, — заявил он жандарму. — А вы за мной не ходите! Я вас, синих, не могу видеть!

И поехал... На первой же версте лед под ним провалился, и он еле-еле выбрался, а лошадь едва не потонула.

Более смелым и нетребовательным был М. Поляков. Совсем маленького роста, слабый Поляков с нашей помощью взобрался на лошадку, но она почувствовала, что у нее на спине никуда негодный ездок, понесла прямо в лесистые горы, сбросила Полякова с седла и... поминай как звали! Полдня пришлось ее искать и ловить.

Так с разными приключениями ехали мы со станка на станок. Плохо питались, плохо отдыхали по крестьянским избам. Кое-где сидели по 3-7 дней в ожидании рекостава, чтобы можно было ехать по льду, но ничего не выходило: река не становилась, и мы дальше и дальше двигались таким образом до самого Олекминска. Отдохнули мы только в Нохтуйске. На противоположном берегу находилась «Резиденция», т.-е., главная контора Олекминских золотых промыслов. Здесь мы прожили 3 дня. Вечером из Резиденции приехал к нам местный доктор Браун, мой товарищ по Московскому университету, и, поговорив с конвоем, взял меня к себе... Тут я увидел отвратительную разницу между жизнью той рабочей массы золотоискателей, которая наполняла притоны гор. Нохтуйска, изнывала в пьянстве, разврате и всяческом безобразии, и жизнью «золотого» начальства. Доктор занимал великолепный особняк, обставленный всяческими удобствами, цветами, вазами, мягкой мебелью. Тут же прекрасный рояль. Белоснежная скатерть на столе, приборы серебряные, вина, конфекты... После нашей тюремной и этапной жизни, после того, что мы видели и пережили по этапам, мне как-то стало не по себе. Не говорилось. Как будто между нами выросла со времен студенчества глубокая яма... Не мог я тут сидеть, не мог рассматривать коллекции золотых самородков, кам-

ней самоцветных и других редкостей. Мне все рисовались картины жизни тех рабочих, которые вот тут-же рядом, где-то под землей, проводят годы в сырых шахтах. В грязных лохмотьях, рваной обуви, по колено в воде, вот он кайлит гранит, бурит его, лопатой вваливает в тележку и толкает ее без конца, день за днем, месяц за месяцем... Для чего? Да для того, чтобы со всякими удобствами тут-же жил управляющий, для которого дом полон роскоши и явств, а хозяин где-нибудь в Ницце или Италии проводил зиму... Странное противоречие нынешней жизни. Глубокая, несправедливая жестокость...

Нет, здесь мне не место, за этим богатым столом. Я холодно попрощался с доктором и уехал назад, к себе в грязную избу, где нам, 5-6 человекам, отвели горницу. Поздно мы сидели и беседовали. А рядом в комнате шел пьяный разгул и картежная игра. Это золотоискатели получили к Покрову расчет и прожигали сначала деньги, затем «надевашки» (блузы), часы, сапоги... Оставшись полуголыми, они идут обратно на промыслы и вновь нанимаются на год в работы. Так проходит их темная жизнь.

Из Нохтуйска мы тем-же распутьем добрались до Олекминска, где мы оставили одного из товарищей В. Русса. Здоровье его и так было плохое, но дорога его окончательно доканала. Чахотка развилась. Кровь шла горлом. Недолго он там прожил. Через несколько месяцев его не стало.

Из Олекминска наше движение пошло уже безостановочно. Лена замерзала. Путь по льду был уже намечен вешками, снегу было довольно. Зато морозы доходили уже до 40-45 градусов. Одеженка же наша была российская: студенческое пальтишко на ветру и шарф. Спасибо ямщики давали нам войлоки, которыми мы в санях закрывались с головой.

Ехали мы, останавливаясь в течение дня на станциях только для перемены лошадей, а затем для ночевок. Ночи были длинные, зимние, и мы по деревням успевали несколько знакомиться с новым типом населения. Это уже были полу-якуты. Вдоль р. Лены, во времена Екатерины второй, были поселены крестьяне, мужики из России. С тех пор им пришлось жить в среде почти исключительно якутов. Многие из них поженились на якутках, и постепенно все это великорусское станичное население изменило свой вид, обычаи, язык. Выдающиеся скулы, приплюснутый несколько нос, немного косой разрез глаз — таковы признаки их, сближающие тип этого населения с якутами. Но кроме этого, говорят они между собой исключительно по-якутски, а по русски только с путешественниками и начальством совершенно ломаным языком.

Скажешь, например, ямщику, поезжай скорее, а он отвечает — «сёпъ», т.-е., ладно. Здоровается произнося слово «капсе», что по якутски означает — «рассказывай», и вообще эти приленские старожилы избегают разговаривать по-русски, это им слишком трудно. Домашнее хозяйство у них тоже какое-то

двойное. Семьи зимой живут в русских избах, а летом в «летниках», т.-е., в якутских юртах, вдали от деревни, в полях и лугах. В то время, к которому относится мое описание, население здесь по Лене жило в полном достатке. Скота рогатого и лошадей, лугов и хлеба — всего вдоволь.

Жили здесь сыто. В каждом доме, часто двухэтажном, в комнатах пол покрыт циновками, мебель венская, всюду самовары, много посуды.

Объясняется это тем, что приленские деревни посещались «золотоискателями», которые тут пропивали все свои заработки; потом тем, что извозный промысел давал им постоянный и крупный заработок, и наконец 1887-1890 года отличались великолепным урожаем. Цена одного пуда ржи была до смешного мала, доходя до 15 коп.! В связи с этим и скот был не в цене. Все же остальное — почти исключительно домашнего изделия.

По мере приблизижения к Якутску население все резче становилось якутским. Якутские казаки уже почти совершенно объякутились. Они говорили почти исключительно по-якутски. Поражало все-таки, главным образом, то, что все эти ямщики, казаки, якуты решительно ничем, кроме своих узких домашних и промысловых дел, не интересовались. Они не имели представления не только о мире, но и о России. Сплошная безграмотность, отсутствие школ, книг. О газетах и не слыхали!

— Это что это гузета? Этой большой лист! Какже видал!

Именно, «видал»... и больше ничего; он знает о газете, что «гумака — курить хороша».

Географические познания не шли дальше р. Лены, Иркутска, Олекмы, Бодайбо и Якутска.

Но это еще были просвещенные люди по сравнению с коренным якутским населением! По дороге мы как будто постепенно окунались в море невежества, темноты и умственной убогости. Таковы были результаты колонизации края российским царским правительством... Крестьяне и казаки объякутились. Рабочие добывали золото. Конторы «резиденций» и исправники доставляли золото в казну. Ни для якутов, ни для переселенцев, правительство ничего не сделало за сто слишком лет!

***

Итак, мы едем и мерзнем, часто бежим рядом с ямщиком, чтобы согреться. Умственная жизнь прекратилась. Наша работа — «ехать», наш отдых — есть и спать.

Наконец, мы доехали до Якутска. Привезли нас к полицейскому правлению, приняли и сейчас же сдали в руки товарищам, поселенным до нас в Якутске. Они разместили нас у себя по квартирам, а часть на так называемой улусной квартире, т.-е., в двух комнатах, специально снятых для того, чтобы при-

езжие из улусов товарищи имели где останавливаться. Постоянно заведывала этой квартирой скопчиха с мужем, и при них жил рожденный ими до оскопления сынишка.

Товарищи приготовили в какой-то квартире целый банкет по поводу нашего приезда. Хотя из Москвы вышли 5-го мая, а прибыли в Якутск 19 ноября, но мы были самыми свежими людьми из далекой России. На нас посыпались вопросы без конца. Многие из встречавших нас были здесь уже долгие годы.

Павлюк Орлов, Петр Алексеев, Вацлав Серошевский, Павел Ровенский, Александр Доллер и его жена Софья Шехтер, Ястрембский, Пекарский, П. Подбильский, Свитыч и много других старых народников и народовольцев, прибывших сюда на поселение с каторги, были для нас необычайно интересны. Ведь это осколки того революционного движения, которого мы были слабыми продолжателями. Мы относились к ним с величайшим уважением, а они, видя в нас своих последователей, окружили нас теплым вниманием.

Бесконечно усталые от семимесячного путешествия, мы едва-едва могли удовлетворить любопытство товарищей о русских делах. Да и нерадостны были наши вести. Народовольческое движение, раздавленное в 1881-1883 годах, пыталось возродиться в 1884-1885 г.г. на юге России и в Петербурге, Риге, Москве, организуя остатки разбитых групп, но неудачно; затем, в 1887 г., возникла вновь в Петербурге небольшая группа народовольцев, но быстро погибла. Были заложены первые организации будущей социал-демократической партии. В общем же организованное движение было разбито, расплылось. Но идеи будущего социалистического освобождения крепли в тиши, и только в этом мы видели несомненный успех нашей работы и надежду.

От товарищей якутян мы тоже не услыхали ничего утешительного. Жизнь здесь в Якутской области была тяжела. Организована была библиотека в городе, куда из улусов товарищи приезжали тайком, брали книги и «поедали» их сотнями, готовясь к будущей борьбе, веря, что теперь возьмем свое. В первый же вечер нашего свидания обсуждался горячо вопрос, как устроиться.

Решено было, ввиду того, что мы останемся в Якутске до весны, когда большинство из нас подлежало отправке в Средне-Колымск, сплотиться по всей области, создать какое-нибудь тесное общение между товарищами. Для этого мы решили создать нечто в роде клуба, где мы могли бы устроить библиотеку, читальню и столовую. На столах читальни каждый из нас обязался оставлять все письма, имеющие общий характер, для пользования всем. Здесь, в библиотеке, мы проводили целые дни в чтении и беседе, в тоске по родине, твердо веря, что настанет время, когда тот, кто любит родину, не будет из нее изгоняться. Здесь в библиотеке, в одно-этажном доме на Большой улице, мы обсуждали упорно вопрос,

как нам быть, когда местное начальство нам объявило, что нас будут в Средне-Колымск отправлять зимой, в ближайшее время.

Вам, читатель, трудно понять волнение, вызванное среди нас этим известием.

Надо знать, что от гор. Якутска до Средне-Колымска считается около 3.000 верст. Дорога пролегает по почти совершенно безлюдному месту. Юрты встречаются на расстоянии 50-100 верст друг от друга, а иногда и на расстоянии 300 верст! Населения нет.

На одну квадратную версту там и сейчас приходится пол-человека, т.-е., 1 человек на 2 кв. версты, а 30 лет тому назад, пожалуй, было и еще меньше. Но ведь население гораздо гуще в городах (например, в Якутске в то время было 5.000 жителей, в Верхоянске 400, в Средне-Колымске 300 и т. д.), и поэтому густота населения по области еще меньше — человек по 10, а кое-где и меньше, приходилось на 100 квадратных верст!.. При такой редкости населения, притом еще кочевого, ибо чукчи и тунгусы не живут оседло, немудрено, что станки по дороге отстоят на такие большие расстояния. Теперь подумайте, что по такому пути нас заставляют немедленно ехать за 3.000 верст! Купить пищи по дороге нельзя ничего, все приходится брать с собой с расчетом, чтобы хватило на 2 месяца. Отдыхать по дороге приходится в пустых юртах, насквозь промороженных 50-ти градусными морозами. Ехать на оле-

нях тяжело, ибо маленькие саночки — нарты приспособлены для легкой езды по снегам, на них ни усесться, ни закрыться невозможно.

Олени к зиме слабые, усталые. Запрягается пара оленей и тащит седоков 100-150 верст до станка, и если приедешь на станок, когда олени ушли вперед на станцию, их приходится ждать 5-10 дней! Все это нам сообщили местные жители, торговцы и чиновники, которые удивлялись безрассудному приказу отправлять нас в этакую стужу, да еще так, чтобы каждая четверка ссыльных при четырех конвойных казаках выезжала из Якутска через 7 дней! Неминуемо, говорили нам, вы друг друга нагоните, а при скоплении где-нибудь в занесенной снегом юрте, вы рискуете просто все погибнуть. Мы задумались...

Среди нас были женщины, некоторые в таком положении, что пути им решительно не вынести; были больные, слабые. Что-же, думалось, ехать на верную гибель из-за того, что губернатор Осташкин не желает принимать во внимание всех этих соображений? Мы волновались, спорили, обсуждали в нашем клубе вопрос о том, как быть. Все были согласны с тем, что подчиниться нельзя, что надо протестовать. Но как?

Тут мнения разделились. Одни думали, что протест вообще ни к чему не приведет и предупреждали, что протест кончится еще хуже, чем риск путе-

шествия. Так думал А. Л. Гаусман. Он, как опытный юрист, говорил:

— Всякий протест с нашей стороны неизбежно кончится применением насилия... Если я и пойду за решением большинства, то только потому, что протест может иметь широкий общественный характер, может обратить внимание в России и заграницей на произвол, беспредельность которого толкает людей почти на самоубийство.

— Нет, зачем же рисковать нам всем! возражал Н. Л. Зотов. Позвольте мне взять протест на себя, я уберу этого Осташкина, и этого будет достаточно, чтобы обратить внимание на положение ссылки.

— Ну, нет! Нам не надо единоличных жертв. Мы здесь все сами за себя можем отвечать! — возражало большинство.

Тов. Пик предлагал просто каждому из нас не идти добровольно в полицию для отправки.

— Тогда, продолжал он, она придет к нам на квартиры, чтобы взять насильно, и мы — кто может — должны оказать вооруженное сопротивление. Это единственный выход.

И его поддерживала его жена Софья Гуревич.

— Однако, и это вовсе не выход, говорил Л. М. Коган-Бернштейн, лучше сделаем так: устроим массовый побег обратно в Россию.

— Что за пустяки! Куда же и как мы все побежим!? Ведь же этот побег осужден на верную неудачу, возражали Муханов, М. Орлов, М. Гоц и другие.

— Конечно, соглашался Коган-Бернштейн. За нами пошлют погоню, а мы ей не сдадимся без сопротивления. Нас, конечно, арестуют, посадят в тюрьму, отдадут под суд! Это вызовет шум, а мы пока зиму-то проживем в Якутске!

— Ну, пойми, дружище, этот план никуда не годится! Надо прийти к чему-либо другому, разумному.

Долго думали. Дни и ночи обсуждали. И наконец решили попытаться сначала ликвидировать положение мирным путем, если удастся.

Мне и А. Л. Гаусману поручено было составить на имя губернатора мотивированное заявление с отказом ехать в Колымск при указанных условиях и просить его отменить свое распоряжение и распорядиться отправить нас не по-четверо, а по-двое, и на расстоянии трех-недельных промежутков друг от друга.

Помню, как сейчас, в час ночи мы с Гаусманом отправились к нему на квартиру.

— Да, наступает решительный момент, заговорил он. Я, как юрист, ясно вижу результаты — будет насилие над нами и по меньшей мере каторга, а может быть, и погибнет кое-кто из нас. Это неизбежно. Мы далеки от законности и здравого смысла в сердце России, в Москве, в Петербурге. Ведь и там реакция торжествует. Ну, а здесь? Мы ведь в 8.000 верстах от Москвы; здесь агенты правительства про-

сто безумствуют! Разве мы их убедим? Но, делать нечего, давайте писать заявление, мы должны его в 25 экземплярах приготовить за ночь, раздать всем для подписи и завтра в 10 часов утра подать его через полицмейстера; конечно, каждый врозь.

Долго мы просидели над редакцией заявления, каждая фраза, каждое слово обсуждались со всех сторон. Часам к 4-м ночи оно было готово, и мы побежали в клуб, где несколько товарищей ждали нас, чтобы помочь переписать.

К утру 21-го марта все было готово, и к 10-ти часам каждый из нас, имея в кармане заявление, отправился к полицейскому правлению. Совершенно понятно, что все были аккуратны, и поэтому ровно к 10 часам человек 25 ссыльных оказались во дворе перед подъездом полиции, что вероятно произвело там некоторый переполох.

Вскоре на крыльцо вышел полицмейстер и спросил, что нам здесь надо.

— Мы желаем подать через вас заявление губернатору.

— Какое там заявление? Скопом сюда зачем-то пришли! Никаких прошений скопом не подают! Ничего не приму!

— Как-бы хуже не было! послышался чей-то голос из ссыльных.

— Ага! Угрозы! Так! Так! — и полицмейстер убежал к себе, а затем вернулся с кем-то и взял наши заявления.

— Хорошо, я передам.

— Когда-же ответ? Нам необходимо его знать.

— Соберитесь завтра к 11-ти часам у себя в клубе! Я вам там дам ответ!..

В воздухе пахло порохом... Мы по приему в полиции почувствовали, что наступает решительный момент. Что-то тяжелое, безумное... Но возврата уже не было, да и никому из нас и в голову не приходило ничего, кроме одного: добровольно не дадимся, пусть тащут насильно! Мы учитывали надвигающееся событие, как кровавый луч света в темном царстве самой безудержной реакции, окутавшей тогдашнюю Россию.

День прошел в нервном возбуждении. Многие готовились к вооруженному сопротивлению. Об этом, конечно, знали и власти, и тоже нервничали, не соображая того, что этого легко избежать, уступив нашему единодушному заявлению. Вместо этого, Осташкин, тогдашний якутский губернатор, и полицмейстер Олесов готовили нам кровавую расправу. До нас доходили известия о том, что в местной команде розданы боевые патроны всем солдатам, что их уже второй день снабжают усиленной порцией водки.

Эти известия все больше создавали и среди нас определенное настроение. Ночь мы провели все вместе, в клубе, как будто солдаты перед боем.

Оружие у нас состояло из десятка плохеньких револьверов системы Лефоше, стрелявших на 10-15 шагов, одной никуда негодной винтовки и одного ре-

вольвера Смит и Вессон у тов. Пика. Зотов ночью нес тяжелую работу. Он видел, что многие переживают наступающую развязку с очень тяжелым чувством, и старался всех приободрить шутками, песнями, воспоминаниями. Многие писали письма — быть может, прощальные — к родным и друзьям.

Утро наступило. На чердаке поместился один из товарищей и наблюдал за движением на улице.

Ровно в 10 часов утра он тревожно прибежал вниз и сообщил: на углу показалась местная команда, в полном вооружении, впереди офицер Карамзин! Они беглым шагом идут прямо к нашему дому...

Не успел он этого сказать, как они уже ворвались во двор.

Мы собрались в первой, довольно большой комнате и встали у стены, около дивана, как раз против окон, выходивших на двор рядом с крыльцом. Вправо от нас еще 4 окна выходили на улицу; дверь слева вела в другую комнату, кухню и черный выход во двор.

Едва только мы собрались, как в дверь вбежал взвод солдат с ружьями на перевес; впереди офицер. В каждой руке револьвер.

Солдаты и офицеры в явном возбуждении. По заранее составленному плану, солдаты окружили дом цепью со всех сторон, а вбежавшие в комнату заняли места у окон во дворе, лицом к нам. Офицер сразу же обратился к нам с требованием.

— Вас требует к себе немедленно полицмейстер!

— Позвольте, ответил ему Л. М. Коган-Бернштейн, зачем же он требует нас? Ведь он же обещал сам сюда прибыть с ответом губернатора.

— Вот вам и ответ!

В первом ряду стояли Софья Гуревич, М. Орлов, Л. Коган-Бернштейн, Роза Якубович, Анастасия Шехтер, я и еще, кажется, один или два товарища. Остальные теснились за нами. Шел общий разговор с офицером. Одни старались его убедить, чтобы он передал полицмейстеру, что мы по его собственной просьбе собрались сюда и ждем ответа. Другие-же, видя, что эти разговоры ни к чему не приведут, снова обратились к товарищам, приглашая их отправиться в полицию. Когда, видимо, беседа подходила к концу, и офицер как-бы поколебался, из корридора раздался голос полицейского надзирателя Олесова:

— Довольно с ними разговаривать! Возьмите их!

В тот-же миг, по указанию офицера Карамзина, взвод стал нас окружать с боков. Я услыхал душу раздирающий стон и затем пальбу.

Не знаю, через сколько минут я очнулся. Я лежал на полу. Поднявшись, я почувствовал что-то теплое в левом плече. Это была кровь. Во рту я ощутил что-то вроде ожога. Я смутно помню, как я падал. Падал и мгновенно подумал:

— Ну, вот и конец...

Но это был не конец. Оглядевшись, я увидел позади себя у стены тов. Пика в сидячем положении. Череп разбит, кругом мозг... Я прошел в другую ком-

нату... Стоны. В углу стонет Софья Гуревич: ее штыком прокололи в области живота; дальше делают перевязку Льву Моисеевичу Когану-Бернштейну. Он лежит без движения. Ко мне подошла Наталья Осиповна, его жена, и стала мне быстро делать перевязку.

— Дайте мне настоящий револьвер! Скорее! Во дворе виновник бойни — Осташкин. Давайте скорее! Кто-то сказал, что был револьвер один только, у Пика, надо взять его...

Зотов побежал, взял из рук убитого оружие и выбежал на крыльцо. Против крыльца во дворе густая цепь солдат, ружья направлены в окна и двери. Зотов стал наводить свой револьвер на губернатора Осташкина. Последний бежит по шеренге, пули летят ему вдогонку... Он падает. Но пуля попала в пуговицу шинели, и он невредим. Выпустив последнюю пулю, Зотов бежит назад. Но в это время со всех сторон раздаются залпы — в окна, в двери, в стены... Стоны усилились. Мих. Гоц ранен навылет в грудь. Он задыхается. Легкое пробито.

Мы чувствуем, что происходит не «вооруженное сопротивление», ибо ни у кого из нас нет оружия, а просто избиение нас, безоружных. Это бессмыслица! Нас всех просто перебьют...

Решили сдаться. На кухонное крыльцо выбежал с белым платком Петр Алекс. Муханов, но не успел он крикнуть: «Сдаемся!», как был наповал убит пулей в сердце. За ним выбежал Ноткин, затем Шур... и их постигла та же участь. Залпы продолжались.

В городе, конечно, все переполошились. Наш тов. Паций Павлович Подбельский прибежал со службы, чтобы узнать, в чем дело. Он прорвался сквозь толпу народа, сквозь цепь солдат и бросился на крыльцо... но тут же упал. Пуля пробила ему висок и засела в черепе.

Все это совершилось, конечно, очень быстро. Только нам, находившимся в клетке, где падал от пуль то один, то другой, казалось, что бойня длится часами...

Когда наши крики: «Сдаемся!» не привели ни к чему, сделана была последняя попытка Натальей Осиповной Коган-Бернштейн. Она выбежала прямо во двор, к солдатам и, размахивая большим белым платком, закричала: «Сдаемся!». Повидимому, солдаты были в сильном возбуждении. Они механически продолжали стрелять, несмотря на то, что их старший офицер Вадеев кричал, чтобы они остановились. Только после того, как он, обнажив шашку стал впереди солдат и настойчиво скомандовал, чтобы солдаты остановились, ему удалось достигнуть результата.

Солдаты вместе со своим фельдфебелем бросились в дом, и не знаю каким чудом мы спаслись от убийств. Солдаты грозили приколоть, пристрелить и т. д., но никого больше не тронули. По всей вероятности помешал им фельдфебель, который оказался сослужив-

цем по местной команде одного из раненых — Л. Коган-Бернштейна. Последний во время первой своей ссылки в Якутскую область (по студенческим волнениям в Петербурге) отбывал здесь воинскую повинность.

Нас вывели на двор. Мы видели, как сволакивали убитых на сани. Туда же положили и Подбельского, который еще дышал, хрипел... Зотова и меня посадили, как раненых, на другие сани. Я задыхался. В этот момент к нам подошел фельдфебель со слезами на глазах.

— Успокойтесь! Успокойтесь! Я вам сейчас воды принесу...

Он побежал, принес воды и, напоив нас, стал со слезами извиняться за весь ужас происшедшего.

Ворота раскрылись. Нас вывели и направили к тюрьме. По дороге было жарко. Солдаты все еще были возбуждены и то и дело грозили опять начать стрельбу.

У ворот тюрьмы нас принял смотритель Николаев и ввел в большую камеру, где был приготовлен стол с обедом. Николаев, по натуре добрый и честный человек, был в ужасе. Он многих из нас знал, относился вообще ко всем политическим ссыльным очень сочувственно. Началась таким образом тюремная жизнь в условиях сносных.

Раненых, в том числе и меня, сейчас же перевели в городскую больницу, против тюрьмы.

Врач Гусев проявил много внимания. Мы все в

особом нервном возбуждении не чувствовали боли. Волновались по поводу положения бедной Софьи Гуревич. Она была в полном сознании и чувствовала, что смерть приближается. Страдания ее были невыносимы. Она умоляла, чтобы ей дали яду.

— Скорее бы умереть! Не могу, не могу...

Полчаса она промучилась и умерла, не теряя сознания.

Н. Зотов с пулей в спине, улыбаясь, бегал от одного больного к другому, делился впечатлениями, нервно говорил.

Тяжелее всех пришлось Л. Когану-Бернштейну и особенно М. Гоцу, который совсем не мог дышать от кровоизлияния в легких.

Особенно плохо стало нам дня через два, когда нервное возбуждение упало и все ощущения стали обычными. Тут же и раны наши стали терпеть изменения воспалительного характера. Начались боли. Я не мог ничего глотать: в горле все распухло.

Несмотря на все эти боли, голод, неудобства, мы о них мало думали. Вырисовывался новый вопрос — что же дальше будет? Ведь это не конец...

Да, это было лишь началом новых годов тяжких испытаний. Мы платили за идею своей жизнью, кровью другие, страданиями долгими третьи. И все же мы все верили, что произошло неизбежное, и что этот ужас встряхнет застывшую под гнетом реакции родину.

Мы не ошиблись.

Шесть недель я и другие раненые пробыли в больнице, залечивали раны. Тяжело было видеть молодого цветущего Когана-Бернштейна, лежавшего без всякого движения: пулей пробиты были нервы, управляющие движениями ног. Страшно было слышать свистящее дыхание М. Гоца. Но все мы были молоды, раны заживали, и мы бодро ждали грядущего.

Между тем, после описанной выше бойни, местный губернатор Осташкин послал нарочных в Иркутск. Телеграфа в то время не существовало еще между Якутском и Иркутском. Две недели ехал нарочный в Иркутск, две недели нужно было для обратного пути, да в Иркутске ему пришлось ждать телеграфных инструкций на донесение генерал-губернатора в Питер.

Только к конце мая, когда мы все раненые настолько поправились, что были переведены в тюрьму, кроме Бернштейна и Гоца, мы узнали, что приехала какая то судебная комиссия по нашему делу.

На следующий же день мы не только уже знали об этом, но и почувствовали. В тюрьме мы заметили напряжение. По обычаю тюремному и казарменному в камерах и корридорах стали «подбираться», подчищаться. Надзиратели приоделись. По камерам с утра проходил смотритель Николаев и кое-кому из нас успел сообщить, что прибыла «военно-судебная комиссия» и собирается посетить тюрьму...

— Чтобы посмотреть на свои будущие жертвы?

— Ну, уж вот и на «жертвы»! Довольно жертв, — проговорил Николаев. — Будем надеяться, что их больше не будет.

Вскоре в тюрьму прибыли наши судьи и прежде всего распорядились усилить внешний и внутренний караул. Обошли весь двор и осмотрели «пали», т.-е., столбы, тесно поставленные и скрепленные друг с другом, образуя таким образом забор. Пали стояли давно. Подгнили кое-где. Офицеры подозрительно поглядывают на эти места, отдают какие то распоряжения. Войдя к нам в камеры, они внимательно осматривали все имеющиеся в них предметы, при чем особое внимание уделяли поясам, ремешкам, полотенцам и простыням. Заглядывали во все углы, стараясь высмотреть, нет ли каких признаков возможности побега. После их осмотра все эти предметы были от нас отобраны.

— Знаете, они боятся, как бы кто нибудь из вас под влиянием предстоящего не кончил самоубийством!..

Было ясно, что эти господа знали, что, вместо самоубийства при помощи пояса или полотенца, некоторым из нас предназначена казенная веревка...

Через несколько дней после этих приготовлений началось следствие. Каждого из нас вызывали в тюремную контору, где судебный следователь Меликов предлагал обычные вопросы, стараясь выяснить «меру виновности» каждого. Все мы заявляли, что расстрел 22 марта был произведен не по нашей вине, а

по вине администрации. Н. Л. Зотов на вопрос, кто стрелял в губернатора Осташкина, ответил, что стрелял он и жалеет, что пуля натолкнулась на пуговицу губернаторской шинели.

— Кто ранил офицера Карамзина? этот вопрос тоже всем над предлагался.

И на этот вопрос Н. Л. Зотов тоже ответил, как и на первый, совершенно откровенно:

— Я стрелял в него, потому что Карамзин целился в меня.

После предварительного следствия начались во дворе тюрьмы очные ставки.

Нас выстраивали в ряд у стены тюрьмы и приводили городовых, солдат, полицейских чиновников, которые нас осматривали и указывали на тех, кого будто-бы видели стрелявшими.

Надо сказать, что когда в комнату вошли солдаты, то А. Л. Гаусман и некоторые товарищи бросили революьверы, имевшиеся у них, при чем А. Л. Гаусман сказал:

— Я не мо́гу стрелять в неповинных солдат... Они тут не при чем. Они жертвы тех, кто заставляет их с нами расправляться...

А. Гаусман был на очной ставке узнан одним полицейским:

— Вот этот, с черной бородой, стрелял! Да я его видел...

Мы были поражены до ужаса. Нам стало известно вскоре после начала следствия, что будут казнены все, кто стрелял.

Бессовестного показания мы не могли оставить без самого горячего протеста.

Во время стрельбы ни одного полицейского в комнате не было, как же он, этот свидетель, мог видеть Гаусмана стрелявшим?

Дело в том, что к Гаусману местная администрация относилась с какой-то непонятной злобой. Он вызывал в них, как юрист, какую-то боязнь, так как в сношениях с ними нередко, опираясь на существовавшие законы, умел доказывать неправильность в их действиях по отношению к ссыльным.

— Покажем мы этому законнику! говорил полицейский надзиратель Олесов.

Городовой показал на Гаусмана не потому, что видел его стрелявшим, а потому, что ему было приказано показать на «черную бороду».

Впрочем, допускаю здесь и другую, менее преступную ошибку. Может быть, этот городовой знал в лицо убитого Пика, в резких чертах походившего на Гаусмана, и зная, со слов солдат или по указанию полицейских властей, что «человек с черной бородой» стрелял, — он указал на Гаусмана.

Как бы то ни было, сейчас же после очной ставки мы написали заявление о том, что мы все ручаемся в том, что Гаусман не стрелял, что у него в руках не было оружия, и немедленно подали его судебной комиссии.

Другие свидетели ни на кого не указали, кроме офицера Карамзина, который на вопрос, может-ли он указать, кто в него стрелял, заявил, указывая на Зотова:

— Разве можно забыть эти глаза!

Правда, таких глаз, горящих красными угольями, забыть нельзя. Вот уже 30 лет прошло со времени описываемого события, а я как будто сейчас помню этот момент, когда я, случайно обернувшись, увидал стоящего на диване Зотова с револьвером в вытянутой руке, целящегося в стоявшего передо мной офицера Карамзина. Глаза Зотова были страшны. Они действительно горели, как зловещие огни.

Следствие было закончено. Вслед за тем начался судебный процесс. Это было нечто такое, что мы назвали «Шемякиным судом».

Судебное следствие велось упрощенным порядком.

В больнице, против тюрьмы, одну палату освободили от коек, перегородили ее на две неравные половины. В решетке вырезали два небольших окошечка, как в конторе. За решеткой столики для судей — «аудиторов» и председателя — «презуса». Суд этот, называвшийся «Военно Судной Комиссией по законам Екатерины 2-ой», собравшийся в последний раз в истории, состоял из пяти человек: презуса, трех аудиторов и секретаря. Все, кроме последнего, были офицеры, назначенные из местных команд, а один из них был начальником исправительной роты. Все — люди невежественные, но это

и неважно, ибо они собственно не судили, а только исполняли заранее данный приказ «примерно наказать».

Судебная сессия открылась. Нас под конвоем вывели в залу, а Когана-Бернштейна принесли на кровати. Двойной ряд конвойных с винтовками нас тесно окружал. Мы стояли, скамей не было.

Вслед за нами за решетку через другую дверь вошли судьи и уселись.

По очереди нас подзывали к окошечкам, предлагали один и тот же вопрос:

— Признаете-ли себя виновным в участии в вооруженном восстании 22-го марта? — и получали однообразный ответ:

— Нет, не признаю.

Затем давали подписать бумажку, где этот допрос был записан, и уводили в тюрьму.

Во второй раз нас вызвали для выслушания обвинительного акта.

В нем рассказана была история бойни с таким расчетом, чтобы обвинить нас в заранее обдуманном и подготовленном восстании, затем указаны три лица — Н. Зотов, А. Гаусман и Л. М. Коган-Бернштейн — как стрелявшие.

На основании показаний офицера, полицейского и других чиновников, устанавливалась наша виновность в вооруженном восстании, вследствие чего и постановлено судить нас по законам военного вре-

мени с наложением наказания по 279 статье военно-уголовного устава.

После прочтения обвинительного акта презус заявил:

— Кто желает сделать заявление по поводу выслушанной записки?

Нам, кстати сказать, защиты не было дано никакой. Поэтому предложенный «презусом» вопрос давал нам хоть маленькую возможность заявить о нарушении существовавших тогда законов.

Заявление мы поручили сделать в краткой, но мотивированной форме А. Л. Гаусману. Он к этому приготовился.

Вслед за вопросом презуса Гаусман заявил:

— Я желаю сделать заявление.

— Говорите.

— Законом предусмотрено, что суду Военно-Судной Комиссии не могут подлежать женщины, которых здесь имеется семь. Вследствие этого я заявляю, что дело о В. Гассох, Н. Коган-Бернштейн, П. Перли, А. Болотиной, Р. Франк, А. Шехтер и Е. Гуревич должно быть выделено и передано гражданскому суду.

— Еще кто имеет заявление?

— Я хочу, продолжал А. Гаусман, еще сказать, что на основании того же закона гражданскому суду должно быть передано также дело о несовершеннолетних, а таковых у нас имеется трое, Л. Берман, К. Терешкович и М. Эсперович.

— Еще имеются заявления? — уже с раздражением прокричал секретарь Федоров.

Не успел кто-то произнести:

— Я имею заявить... — как раздался громкий голос презуса.

— Довольно! Что их разве всех переслушаешь! Выводи их вон!

Мы буквально остолбенели. Как! Дело идет о суде, который может приговаривать к смертной казни, о суде, для которого не требуется для этого больше одного непроверенного показания, о суде, где нет защиты для подсудимого! И здесь подсудимым даже не позволяют высказаться с чисто формальной стороны! Да суд-ли это? Не просто-ли послали офицеров, исполняющих то, что им приказано?

Но нам не дали даже опомниться. Ряды конвойных замкнули нас в тесный круг; щелкнули замки берданов...

— Выходи!

И нас увели обратно в тюрьму.

Прошло два дня. Нас опять привели в суд «для выслушания приговора».

Жутко было при таких условиях оказаться в этом шемякинском суде. Нас в этот день и вели-то по-особенному. Конвой был значительно усилен. Хорошего было ждать нечего. Когда мы оказались в суде, презус и аудиторы были уже там.

Прежде чем прочитать вслух приговор, презус счел необходимым сказать:

— Вы не особенно волнуйтесь. Приговор, вероятно, будет смягчен.

По тону чувствовалось, что даже этому суду казался его приговор чудовищным.

После предисловия, не сулившего нам ничего утешительного, секретарь приступил к чтению.

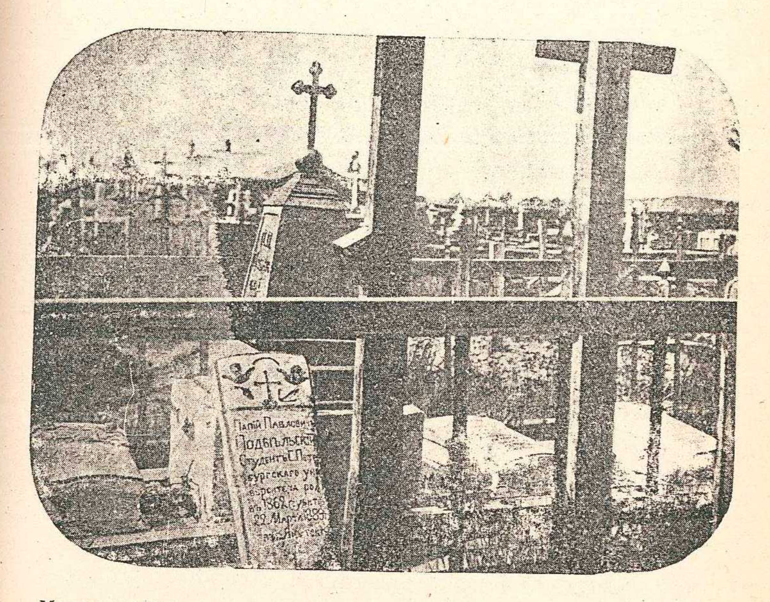
Приговор повторял в мотивах то же самое, что было в обвинительном акте («выписке из дела»), и заканчивался словами:

— На основании вышеизложенного, суд отверг заявления, сделанные Гаусманом, и на основании статьи 279-ой налагает на всех подсудимых наказание смертной казнью через повешение... но, в виду смягчающих условий, ходатайствует перед иркутским генерал-губернатором о замене смертной казни каторжными работами для М. Гоца, М. Орлова, А. Гуревича и О. Минора без срока, М. Уфлянда и других на 20 лет... а для Розы Франк и Анастасии Шехтер, в виду того, что они 22-го марта приглашали бывших там идти в полицию... к 4-м годам!

Три фамилии — Н. Зотова, А. Гаусмана и Л. Коган-Бернштейна, — среди тех, о ком ходатайствовал суд, не были упомянуты...

Вот они, трое, рядом с нами, обреченные на смерть... У многих на глазах слезы, но все молчат. Нет слов для выражения того чувства, которое всех нас охватило. Я не мог поднять глаза, чтобы взглянуть на них.

Мне казалось, что я от охватившего меня ужаса



Могилы убитых при вооруженном сопротивлении в Якутске
22 февраля 1889 г.

и стыда свалюсь... Почему их отдают в руки палача? Почему не меня? Не других? Ведь я также виновен и невиновен, как А. Гаусман? Неужели ложного показания городового достаточно, чтобы убить человека?

Молча мы дошли до тюрьмы. Трех окончательно приговоренных оторвали от остальных и посадили в одиночные камеры.

Начались жуткие дни ожидания. Приговор на утверждение был послан в Иркутск генерал-губернатору, которого в это время заменял начальник штаба генерал Веревкин. Зловещая фамилия... Веревкин, веревка.. Утвердит! — думалось нам.

Целый месяц, до 6-го августа, мы ждали. Пусть читатель, хорошо знающий, что значит ожидать ежеминутно смерть, подумает, как это тяжело, когда эта смерть придет к безоружному... Явятся люди, свяжут, поволокут, убьют... и отправятся... обедать, чай пить, ласкать свою жену, детей!.. Неужели найдется палач здесь, в Якутске? Хотелось верить, что палачей не найдут...

Но вот 6-ое августа. С полудня в тюрьме тревога. Без всякого предупреждения из одиночки вывели сначала Зотова. Наши камеры в это время были заперты. По рыданию Евгении Гуревич, которой дали проститься с любимым человеком, мы поняли в чем дело. Прильнув к окнам, мы увидали Николая Львовича, идущего по мосткам к тюремной калитке. Бледный, с перекошенной улыбкой, с блестя-

щими глазами он бодро шел, часто оборачиваясь к нам, и говорил «прощайте»... Он уже знал, что сегодня конец всему...

Следом за ним вывели из одиночки Альберта Львовича Гаусмана.

Я не могу передать тех необычайно тяжких чувств, которые каждый из нас, остающихся в живых, испытывал в течение остальной части ночи.

К уведенным от нас вскоре принесли на кровати парализованного Л. М. Когана-Бернштейна.

Их поместили в кордегардии в особой комнате, окно которой выходило в особый двор; там, на глазах приговоренных, воздвигали виселицы.

А. Л. Гаусман и Л. М. Коган-Бернштейн проводили последний день своей земной жизни. К ним пустили на свидание жен с детьми. Шестилетняя, умная девочка Надя, дочь Гаусмана, забавлялась с отцом и вероятно не подозревала о страшном смысле этих последних часов жизни. Отец не подавал виду о своих ощущениях. Смеялся, беседовал с своей любимицей и любовался на нее. А сын Л. М. Коган-Бернштейна... Думал ли он и его сынок, милый Митя, что им суждена одинаковая судьба от рук убийц! Между тем, через 30 лет после казни отца, произведенной царскими насильниками, он был расстрелян насильниками-большевиками. Нельзя без содрогания вспомнить товарища Наталью Осиповну, жену повешенного мужа и мать расстрелянного сына... Что ей

приходится вновь теперь перестрадать после тридцатилетней муки после казни мужа...

Было свидание дано и Н. Л. Зотову с Евгенией Гуревич.

В ночь на 7-ое августа 1889 года было совершено убийство трех товарищей по приказу судей, утвержденному из Иркутска и Петербурга.

Их казнил уголовный каторжанин. Зотов сам надел на себя петлю и вытолкнул из под ног скамейку. То же сделал и Гаусман. А Когана-Бернштейна палачи приподняли на кровати, набросили петлю и бросили кровать...

При этом ужасе присутствовали судьи, полицейские. Один из них, Олесов, ходил около повешенных и тянул их за ноги...

Мы всю ночь не спали. Многие рыдали.

Рано утром прибежал к нам в слезах смотритель Николаев и тут же упал в глубоком обмороке.

ПЕРВАЯ КАТОРГА

Седьмое августа 1889 года. В тюрьме тишина. Рано утром из петли вынули Евгению Гуревич. Она не в силах была вынести совершившегося. Все молчим. Не хочется глаз поднять, чтобы не встретить глаз соседа. Всякому хочется уйти в себя. Да и что скажешь? Ненависть ко всем служителям строя, к самому строю выросла до огромных размеров, и ведь

ничего не поделаешь... Нам остается не убивать себя, а жить, и, когда явится возможность, вновь вступить с ним в непримиримую борьбу, быть готовыми...

Около полудня во двор втащили целую связку кандалов, наковальню, заклепки. Явился кузнец с молотком в руках и старший надзиратель. Приговор вошел в силу. Нас по-очереди вызывали в контору, давали прочитать и подписать приговор, а затем отправляли с надзирателем обратно во двор, где и заковывали ноги. Каждый из нас почти с радостью подвергал себя этой операции. Как будто легче становилось после пережитой ночи, когда мы чувствовали, что вот и нашей жизни конец, что мы начинаем долгие муки невольнической жизни. А все таки внутри говорил инстинкт жизни: все-таки я жив! И где-то глубоко в душе таилась мысль — жив и еще буду жить, дышать, может быть явится еще когда-нибудь радость жизни, и удастся увидеть, как люди заживут более свободно, более счастливо. Тяжелые кандалы явились облегчением. Мы стали даже говорить между собою, делиться впечатлениями, стараясь не упоминать о проклятой, невыносимой ночи.

Вскоре всех нас мужчин заковали, и необычайный звон понесся по двору.

Начался первый день нашей каторги. Для нас четверых бессрочников и для приговоренных к 20 и 15 годам вначале это, как я уже говорил, было как-бы средством успокоить душевную муку после казней и убийств. Но человек уже так устроен, к счастью,

что страдание им сравнительно скоро переживается в его острой форме. Сначала горе заставляет думать о самоубийстве, затем человек рыдает, мучается, ночей не спит, но вскоре жизнь берет свое, повседневные интересы заполняют ее, и измученный горем вновь начинает жить настоящим и будущим. То же случилось и с нами.

Предстояла отправка всех нас в каторжную тюрьму. Петербургские власти избрали для нас старую тюрьму в г. Вилюйске, Якутской области, в тысяче верстах к северо-западу от г. Якутска.

Что нас ждет там? Какая это тюрьма? Будут-ли нас принуждать к тяжелым работам? Возникали тысячи вопросов, все они волновали нас, интересовали, требовали ответа и... отвлекали от недавнего прошлого.

Мы узнали, что вилюйская тюрьма была построена в 1863 году специально для Н. Г. Чернышевского и двух польских повстанцев Огрызко и Дворжачека и что, со времени их освобождения, она совершенно пустовала. Это не сулило нам ничего хорошего: стены от мороза вероятно полопались, грязь, гниль... Относительно работ шли слухи, что там намерены возобновить брошенные соляные копи. Копи эти по слухам находятся верстах в ста от Вилюйска, в глухой местности. Работы в них чрезвычайно тяжелы. Мы решили от работ, если они будут, не отказываться. Покончив с первыми впечатлениями от пережитого, мы задумались над тем,

как сделать совершившийся факт достоянием русского и западно-европейского общественного мнения. Как мы ни были подавлены, мы понимали, что жертвы нас обязывают продолжать борьбу, не покладая рук.

Но что мы могли сделать? Нам оставалось действовать через печать в России и заграницей. Работа закипела. Кто мог, писал в Россию, в сибирские города, другие писали подробные отчеты и призывы за-границу. Только гораздо позднее мы узнали результаты нашей работы. В целом ряде сибирских городов ссыльные подняли протесты. Одни писали их в нелегальной форме, другие открыто обращались к губернаторам или в министерство, выражая свое возмущение насилием правительства и сочувствие к пострадавшим. Одна группа, в которой были Кранихфельд, П. Грабовский, Ожигов, Улановская и др., написала чрезвычайно резкий протест и выразила свою полную солидарность с нами. За это они были арестованы, преданы суду и осуждены на вечное поселение в Сибири. Ссылка зашевелилась. Возникали всевозможные планы ответа на насилие против якутской ссылки.

Ссыльным товарищам в г. Якутске приходилось быть свидетелями активных попыток ответа насилием на насилия, организованные губернатором Осташкиным.

В ноябре, декабре и феврале нас стали отправлять в Вилюйск. Морозы стояли жестокие, доходив-

шие до 60 градусов по Реомюру; одежонка была у нас арестантская, денег было мало, хотя товарищи по ссылке собирали между собой и среди посторонних, чтобы помочь нам. Путь предстоял более тяжелый даже, чем тот, который мы проделали от Иркутска до Якутска. Станции отстояли в то время друг от друга на расстоянии от 35 верст до 120. Прибавьте к тому же, что версты там «екатерининские», т.-е. по 700 сажен! Но ехать так ехать!

Сначала отправляли мужчин по двое. В одну из пар попал и я. Из Якутска мы выехали в недурных кошевах (сани с плетеной корзинкой), наполненных сеном, прикрытым толстым войлоком. Первая станция показалась нам раем по сравнению с тюрьмой. Хоть и мерзли немного ноги от кандалов, но терпеть было можно. На станции, — юрта, большая теплая. В середине большой камелек, поставленный из жердей, обмазанных толстым слоем глины. Вдоль стен низкие нары, застланные мехами. В углу стол, табуретка. Мы быстро разделись и стали отогреваться у огня, а хозяйка, пожилая якутка, поставила самовар, подвинула к огню котелок, из которого торчали рыбьи хвосты.

Это она по-якутски варила рыбу. Приготовление очень простое. Взяв мерзлую рыбу, хозяин-якут острым ножем быстро вырезал желчный пузырь, а хозяйка совала рыбу головой в котелок, стойком. Чешую не чистят и внутренностей не вынимают. Когда вода в котле вскипит, рыба считается гото-

вой. Ее выложили на деревянную грязную доску и поставили на стол. Как раз в это же время поспел и самовар. Мы уселись вместе с казаками за трапезу, предварительно осмотрев наши собственные запасы пищи — два круга замороженных щей, столько же замороженного молока и сотню тоже замороженных кусков мяса и котлет.

Отдохнув, согрелись, поели и двинулись дальше. К вечеру стало еще холоднее, и мы чуть не замерзли. Среди дороги разложили костер и стали греться, но пока согревались ноги, руки и лицо, мерзла спина. Пришлось двинуться пешком. Кое-как добрели. На утро нам запрягли уже оленей в нарты. Было еще холоднее, поднялся ветер.

С горем двигались и двигались со станка на станок около трех недель, наконец прибыли в Вилюйск. Так постепенно собрались туда все осужденные, 22 человека.

Как жестоко относились к нам, трудно передать. Но вот факт. Одна из осужденных, А. Н. Шехтер, в Якутской тюрьме родила ребенка и просила оставить ее в тюрьме до более теплого времени. Но никакие просьбы не помогли. Ее с грудным двухмесячным ребенком все-таки отправили. Прибыв на первую станцию, мать увидала, что ребенок у нее на руках замерз. Ей дали похоронить дочь и сейчас же отправили дальше...

Но вот мы все в тюрьме. Начинаем отбывать каторгу.



О. С. Микор
18 февраля 1896 г.
Чита

ВИЛЮЙСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА

Все в сборе. Начинаем устраиваться в тюрьме надолго. Одну камеру, наиболее светлую и чистую, отвели женщинам. Тут вместо нар поставлены железные кровати, столики и табуретки. Потолок затянут холстом, не для красоты, а для защиты от сыплющегося сквозь щели песку. Две другие камеры для мужчин. Здесь нары, один общий стол, табуретки. Одна комната в распоряжении двух надзирателей и, наконец, обширный общий дом, где мы проводим дни, обедаем, читаем и т. д.

Большой двор. На нем две пристройки, кухня с пекарней и баня. Все работы по внутреннему хозяйству должны исполняться нами. Колоть и таскать дрова, топить печи, убирать баню, кухню, печь хлеб, вывозить со двора сугробы снега и т. д. Летом — огородничать. Одним словом — работы сколько угодно, тем более, что от тяжелой домашней работы женщины, конечно, были свободны.

На первых порах мы установили нашу конституцию, известный порядок. Мы были предоставлены внутри тюремной ограды самим себе: начальник тюрьмы, казачий офицер, совершенно не касался нас. Он ограничил свою деятельность заботами финансового характера и общей охраной тюрьмы, за ее оградой. Но будучи предоставлены сами себе, мы,

конечно, не могли жить так, как каждому хотелось бы. Мы тут воочию увидали, как образуется общество и его жизнь. Когда люди оказываются в таких условиях, когда пространство для них ограничено, сырье в ограниченном количестве и их связывает неизбежность удовлетворения основных потребностей в пище, крове, покое, то люди по необходимости устраиваются так, чтобы можно было жить.

В тюрьме надо топить печи, печь хлеб, варить пищу, поддерживать чистоту. Для всего этого установилась очередь, и каждый принимал участие во всех работах, при чем та работа, которая не всем доступна по слабости или неумению, падала на другого, сильного и умелого. Разделение труда легло в основание нашей общественной организации, и это давало возможность каждому из нас иметь довольно времени для серьезных занятий с целью пополнения и расширения знаний.

Вначале мы все еще были подавлены событиями, и многие из нас занялись изучением языков и математики. Это давало возможность забыться, успокаивало и все-таки получалось удовлетворение.

Через 3-4 месяца товарищи, незнавшие совершенно английского языка, уже читали единственную имевшуюся у нас книгу на этом языке, Шекспира, сравнительно редко пользуясь словарем. Другие товарищи изучали математику. Но большинство упорно читало и изучало историю. К счастью, у нас была «Всемирная История» Шлоссера и вновь вышедшая история Вебера. Кое-кто интересовался политической экономией, социологией и философией. Никаких журналов и газет у нас не было. Мы, таким образом, совершенно оторванные от жизни, коротали дни в работе, беседах и среди книг. Я не жалел, что книг было сравнительно мало: их волей-неволей приходилось не просто читать, а изучать, и я убедился, что при таком отношении к книгам из них гораздо больше приобретаешь, ибо над ними больше думаешь, что собственно самое важное при чтении.

Но, конечно, жить годы все в одинаковой обстановке тяжело и тоскливо. И мы изобретали иногда и развлечения. Так, однажды в Рождество, мы получили разрешение поставить спектакль под новый год для солдат и казаков конвойной команды. Мы поставили «Женитьбу» Н. В. Гоголя. Наш главный режиссер Александр Гуревич приспособил общую залу для сцены и зрительного зала, повесил занавес из одеял, расставил скамьи. Собралось много публики, с удивлением смотревшей на необычную обстановку. Наши зрители никогда не бывали в театре, ничего подобного не видели. Их все интересовало. Они, как дети, радовались и сцене со свахой и бегству Подколесина через окошко; искренно смеялись, хлопали и выражали восторг. Но мы были очень довольны: хоть что-нибудь сумели дать полезное! Устроили мы как то и другой спектакль. Но кончился он очень печально. В эту ночь нашего товарища сту-

дентку-медичку Розу Франк-Якубович вызвали к начальнику тюрьмы. С ним случился удар, и, несмотря ни на какие старания, он умер.

Так мы прожили в тюрьме около 3-х лет. Вдруг пришло известие, что нас всех приказано перевести в другую тюрьму, Акатуевскую, в Нерчинско-заводском округе, Забайкальской области. Опять волнение. Опять приготовление в дорогу трудную; опять приспособление к новой каторжной жизни...

Но приказ был получен: «отправить ускоренным путем».

В это время главным тюремным начальником был Галкин-Врасский. Старый царский чиновник рьяно исполнял свою службу и поэтому решил к русской каторге применить самый новейший режим, вывезенный из Германии. Там, в царстве Вильгельма, он узнал, что «все нарушители закона равны» и сделал заключение: стало быть «нет преступников уголовных и политических», поэтому незачем их и разделять по разным тюрьмам, а надо держать вместе, смешать их и применять одинаковый режим. И вот «Галкин-Вралкин», как мы в шутку окрестили Галкина-Врасского, приказал «немедленно построить в Акатуе образцовую тюрьму и всех оставшихся в Сибири политических каторжан поместить там вместе с уголовными, на один и тот же режим... потому что так устроено в Германии и Австрии». И нас устроили...

Занялись прежде всего нашей отправкой из Вилюйска обратно в Якутскую тюрьму, откуда нас должны были отправить по р. Лене на барже до Жигалова, а оттуда на лошадях до Иркутска. Не стану описывать первой части обратного пути. Трудность его вы, читатели, уже знаете. В Якутске нас распределили на категории, т.-е., товарищей, сроки которых были невелики, оставили в Якутской тюрьме, меньшую же часть, состоящую из 14 человек, готовили к отправке.

Приближалось время отправки. Лед прошел, прибыла на буксире из Жигалова баржа. Накануне нашей отправки нам было приказано готовиться к пути. В городе население сочувственно волновалось. Все население решило нас провожать до пристани от тюрьмы. Настроение было приподнятое. Я никогда не забуду глубокого чувства удовлетворения, когда мы, выйдя под конвоем из ворот тюрьмы, увидали сплошную толпу народа по обе стороны дороги. К нам тянулись руки местных рабочих, крестьян, якутов, поселенцев... Кто подавал на дорогу пирожки, кто заработанные гроши. На углу устроился старик с кобзой и, когда мы подошли к нему, он заиграл и запел. Все обращались к нам с приветом и сочувствием. Так мы, сердечно растроганные этой сочувственной демонстрацией, добрались до берега, где народу было еще больше. Посадка на баржу была произведена быстро. Вся баржа была загружена товарами, а на палубе был помещен рогатый скот. Среди товаров и скота нам было пред-

ложено разместиться. По первому взгляду казалось мы и не заметили мерзкой обстановки, в которой придется прожить довольно долго.

Так резка разница между речным раздольем на широкой Лене и тюрьмой, что мы и не замечали баржу. Мы смотрели на небо, на воду, на землю, на людей и отдыхали душой...

Это была настоящая передышка, несмотря на то, что путь временами был очень труден и опасен.

Часть пути, если память мне не изменяет, от г. Киренска, нам пришлось тянуться на лодках на бичевке. На каждой лодке под навесом сидели каторжане, человек по 5-6 со своими конвойными. На корме рулевой — крестьянин по наряду со станка. Длинная крепкая бичевка прилажена к хомуту лошади, которая и тянет нас вверх по Лене. Лето теплое, кругом величественные, прекрасные берега, то отвесные, крутые, темные, суровые, то горные пади (долины), покрытые еще в июле месяце толстым слоем не успевшего растаять льду и снегу; то прелестные водопады, леса... Природа, как ласковая мать, убаюкивала нас. Так мы доплыли до с. Усть-Кута, откуда нас ускоренно помчали на лошадях. Удовольствие речного плавания сразу сменилось мукой безостановочной тряски на двуколках, — носящих по Сибири название «бестужевок», по имени братьев декабристов Н. А. и М. А. Бестужевых. Подобно многим политическим ссыльным, братья Бестужевы, оказавшись после восстания декабристов

14 декабря 1825 года в каторжных острогах Читы, а затем на поселении, как люди в высшей степени даровитые, сумели стать полезными и нужными для местного населения. Михаил Бестужев и придумал, между прочим, «сидейку» или «бестужевку», эту тележку, отлично проспособленную к местным плохим и узким дорогам. Они же изобрели особый способ уборки хлеба, клажи печей и т. п. Эти то вот бестужевки буквально вытряхали из нас душу. При медленной езде они хороши, но когда офицер, сопровождавший нас, распорядился, чтобы нас мчали со станка на станок со скоростью 12-15 верст в час, и так без отдыха с 5-6 утра до обеда и затем с обеда до вечера, то нередко женщин приходилось вытаскивать из этих сидеек и телег в полуобморочном состоянии. Да и не только женщин, и меня однажды так затрясло, что я не в силах был слезть на станции и вынужден был заявить офицеру, что дальше я так ехать не могу. «Не могу!..». Что это значит, когда приказано немедленно доставить! И нас трясли несколько дней подряд немилосердно, вплоть до Иркутска. Здесь, отдохнув около месяца, мы двинулись пешим порядком дальше к Байкалу.

На ст. Байкал нас погрузили на баржу и буксиром потянули к другому берегу, к ст. Лиственичной.

Погода пасмурная. Небо покрыто темными дождевыми тучами. Озеро черно, как смола; кругом высокие темные скалистые горы, круто стоящие над шумной бушующей стихией. Гудит Байкал. Молнии

пронизывают темное, гневное небо. Но вот мы отчалили. Мы в трюме. Большая часть товарищей быстро заболела морской болезнью и свалилась на нары.

Меня потянуло наверх. На озере стало совсем черно. Молнии участились, раздались могучие громовые раскаты. Выла буря. Высокий плотный матрос стоял, опершись на мачту, и зорко смотрел вперед. Он закутан в тяжелый кожан. Начавшийся мелкий частый и холодный дождь заставил его только поднять капюшон над кожаной фуражкой. Видно ему нравилась эта разыгравшаяся стихия славного Байкала, и он могучим голосос запел:

«Гондольер молодой!..».

И было так странно слышать эту молодецкую итальянскую песню там далеко, на мрачном Байкале.

Вскоре вокруг матроса образовался маленький хор, и понеслась байкальская песня:

Великое море! Священный Байкал!
Могучий корабль — одинокая бочка!
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Море шумит недалечко!

Через несколько часов мы переплыли **широкий** Байкал (приблизительно в месте переправы 45 верст), высадились и, выстроившись в ряды, тронулись на этап, где должны были переночевать. Партия арестантская состояла из 13 политических каторжан и каторжанок и человек ста уголовных, большею частью бродяг. Последние на каждом этапе думали о побегах. Всюду они отлично знали местность, характер конвоя, самый этапный дом, — где решетка подрезана, где потолок «тронут», где «крот ходил», то-есть была попытка подготовить подкоп. И на всяком этапе, сейчас же по приходе, наши «Иваны», «Орлы», «Неизвестные» и т. д. начинали обдумывать планы побегов. Но и конвойные солдаты все эти ходы и выходы отлично знали и прежде, чем впустить нас на этап, внимательно их осматривали и предупреждали:

— Эй, вы, бродяги, потолка то не трогать! Под нары шибко не лазайте!

И начиналась обычная этапная жизнь. К воротам являются торговки, а иногда пропускают их во двор. Нехитрые продукты расхватываются арестантами и через полчаса по приходе начинается варка пищи на кострах во дворе.

По мере нашего продвижения по горам становилось все холоднее. Ходьба труднее. Но вот мы миновали Верхнеудинск, а затем прибыли в Читу.

На улице, у ворот тюрьмы, за столиком сидят начальник тюрьмы, советник Областного Правления, полицмейстер и товарищ прокурора. Принимают партию. Когда вызвали к столу меня, я обратил внимание на лицо прокурора. Знакомое. Где-то видел.

— Вы Минор? обратился он ко мне.

— Да.

— Мы вместе в Москве учились в университете. Помните?

Я вспомнил. Это было в 1883 году в сентябре месяце. В университете сходки, подготовляется демонстрация протеста против реакционных действий правительства. Редактор «Московских Ведомостей» М. П. Катков — душа тогдашней реакции — откровенно ведет борьбу против всякого проявления свободной мысли. Под его влиянием пошли гонения на печать. В начале октября получено было известие о закрытии журналов «Слово», «Дело», «Устои», «Отечественные Записки». Это окончательно переполнило чашу терпения молодежи. На сходке старост решено было созвать сходки в университете и столковаться о форме протеста. На одной из сходок на юридическом факультете мы с тов. Рождественским орудовали. Я говорил, а он, заметив, что кое-кто из студентов намерен уйти, стал у двери и своей могучей фигурой заслонил ее. С ним нѣкоторое время мы работали вместе в 1-м Студенческом Союзе и в народовольческом кружке.

И вот этот самый Рождественский теперь прокурор, я — каторжный, и он меня «принимает»!

Посадили меня в Чите в одиночку. Я устал донельзя. Прилег отдохнуть. Было уже поздно. Часов около 11 вечера дверь тихонько открылась — и, извиняясь, зашел ко мне Рождественский. Мы долго, до поздней ночи, проговорили с ним, вспоминая старое. Затем он взял у меня письма для отправки

родным, обещал утром же прислать ко мне на свидание моего старого товарища М. Г. Фриденсона, который недавно отбыл каторгу на Карийских рудниках по процессу 22-х народовольцев.

Приятно было встретить через 10 лет товарища, но и бесконечно тяжело было видеть, как этот, когда то честный, горячий юноша-студент, потерял свое старое обличье увлекающегося борца за народ и обратился в обыкновенного, заурядного обывателя-чиновника.

Много таких мне пришлось видеть на своем жизненном пути. Это самые жалкие люди.

АКАТУЕВСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА

Сидя в тюрьме, всегда мечтаешь о том, чтобы перевели в другую. Станут переводить — выйдешь за ворота, будешь двигаться, дышать, видеть природу. А как походишь по этапам месяца два-три, так и небо, и земля, и лес, и вода—все надоест! Так устанешь, что мечта обращается в обратную сторону: как-бы это уже добраться наконец до места, отдохнуть, одуматься! Полежать на нарах и не думать о том, чтобы утром в 5 часов вскочить, одеться и все идти и идти дальше.

Так и мы, до того намотались, иззябли, намучились по дороге, что когда мы тронулись из Читы и стали добираться до Нерчинско-Заводского Окру-

га, в душе кипела радость скорого отдыха. Но вот мы на последнем этапе, в селе Александровском, где помещалась Богодульская «Центральная Каторжная тюрьма». В это село мы приехали днем и сейчас же тронулись дальше, в Акатуй. Последнее путешествие в бессрочное каторжное сидение! И дорога-то какая-то мрачная. Сначала проехали пустым полем — плоскогорием, потом стали по сравнительно узкому шоссе, между гор, спускаться все ниже и ниже. По бокам горы все подымались выше, становилось темнее и холоднее.

Вот по левой стороне дороги видно кладбище. Здесь хоронят каторжан и поселенцев.

Сколько тут старых, забытых могил!..

— Вот гляди, друг, тута за решеткой-то видна могила Лунина. Давно это маялся тут, на цепи держали в старой каменной тюрьме.

Михаил Сергеевич Лунин, один из самых решительных декабристов. Подполковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Лунин обвинен был в том, «что участвовал в умысле цареубийства согласием», в умысле бунта и заведения тайной типографии. Но дошел он до каторги довольно сложным путем. Обиженный в полку начальством тем, что в очередь не получил высшего чина, он осенью 1816 года вышел в отставку и уехал в Париж, где сначала увлекся католическими аббатами, потом спиритизмом, затем познакомился с выдающимся ученым и писателем, Ипполитом Оже, Шарлем Брифэ и наконец с знаменитым французским социалистом Сен-Симоном.

Здесь в Париже он определил свое настроение. Он стал борцом за свободу. «Я буду приносить пользу людям тем способом, какой мне внушают разум и сердце. Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете».

И вот этот «Гражданин вселенной» был брошен в тюрьму. Таскали его по многим тюрьмам и, наконец, попал он в Акатуй, где тогда разрабатывалась серебряная руда. О климате и воздухе этой ямы писала жена одного из декабристов, что птицы, пролетая мимо Акатуя, задыхаются и падают мертвые. Лунина, как весьма опасного и энергичного протестанта, держали в каменном здании, в особой камере на цепи. Здесь он затосковал, стал молчалив, скучен и 8 декабря 1845 года умер внезапно. Доктор Орлов, производивший вскрытие трупа, за неимением инструментов, топором разрубил ему голову...

И вот все это как-то невольно вспомнилось, когда мы, подъезжая к Акатую, увидели заржавленные, разбитые решетки кругом могилы этого замечательного и уже почти забытого борца за народную свободу.

Мы двигались дальше, все спускаясь с горы среди леса, и наконец увидели нашу тюрьму. Вот и ворота. Мы сошли с подвод и встали у решетки, сквозь которую видно было одно-этажное деревянное здание, где помещались каторжане.

В подворотне движение надзирателей и конвоя.

Они перебегают в пристройку, стоящую слева от ворот. Бегают по двору и каторжане, заглядывая по направлению к нам. Наконец один из них подходит к нам.

— Здравствуйте! Среди вас есть политические?

— Да, человек 12, только политические.

—Я — Бронислав Славинский, политический. Сейчас побегу предупрежу товарищей о вашем прибытии. Мы ведь ждали вас, вилюйцев.

Но разговаривать уже было не время. Нас стали по одиночке вызывать в комнату, где был склад одежды. Здесь нас раздевали до нага, отбирали всю одежду, в которой мы путешествовали, и давали новую, а из собственных вещей оставили одну лишь чашку и платки с полотенцем.Тут же проверяли нас по статейному списку и в сопровождении надзирателя отпускали в тюрьму.

По внешнему виду двор произвел приятное впечатление. Слева небольшая чистенькая больничка, справа—кухня, пекарня и баня; впереди—одноэтажная деревянная тюрьма. Светлый яркий день. Двери отворены. Пожалуйте!

Да! Опять под замок. Опять бесконечное сидение, чтение и разговоры...

Поднявшись на невысокое крылечко, я на площадке был встречен товарищем Славинским, который взял из рук моих вещи и провел меня сейчасже в дверь направо. Здесь оказалась небольшая ком-

натка, где помещалась переплетная мастерская, в которой работал Славинский.

Первые минуты были обычными минутами тюремных встреч. Начались расспросы о новостях, а с моей стороны: о порядке тюремной жизни, об условиях, отношении к начальству и т. д.

Подошли остальные товарищи. Начался общий разговор.

Мы застали в Акатуе только трех политических каторжан—Бронислава Славинского, Петра Филиппович Якубовича (Мельшина) и Тищенко (Березнюка), которые были переведены сюда доканчивать сроки каторги, после закрытия тюрем на Карийских золотых рудниках. Славинский осужден был по делу польской партии «Пролетариат» на бессрочную каторгу, Якубович по делу Г. Лопатина, а Тищенко по делу о покушении на Александра 2-го на юге России. Настроение у них было тяжелое. Заброшенные в Акатуйскую тюрьму, в совершенно чуждую уголовную среду, в режим, имевший целью во что бы то ни стало сравнять их с убийцами, грабителями, бродягами, им было необычайно трудно защищаться от грубого начальника тюрьмы Архангельского, прозванного арестантами «Шестиглазым». А шестиглазый старался выполнять задачу смешения до тонкости. Мы это почувствовали в первый же вечер.

В 5 часов вечера, когда арестанты вернулись с работ, нас из мастерской вывели и повели по камерам. Заперли на замок. Я оказался в камере номер 5.

Одно окно против дверей. По бокам нары. У окна стол, перед ним длинная скамья. Справа у окна на гвозде маленькая жестяная лампочка. На нарах разбросаны халаты, которыми прикрыты измятые мешки, набитые соломой, такие же подушки. Моим товарищем по камере был Тищенко, все остальные, человек 20, уголовные.

— Сейчас будет поверка. Я тебе скажу, Осип, эта самая поверка стоит нам дорого, обратился ко мне Тищенко. Нас хотели заставить на дворе во время поверки по команде «шапки долой» снимать их, а потом по команде «накройсь» надевать. Шестиглазый из этого сделал целый парад для нашего унижения. Вначале нас было больше, человек 12 политиков и мы решили этим командам не подчиняться. Последовали угрозы: «в карцерах заморю!». Не подействовало. На следующий же день он командует: «шапки долой», а мы их не снимаем! Раскричался, как сумасшедший, затопал ногами и закончил:

— В карцер! на 7 суток — и показал пальцем надзирателю на стоявшего с краю нашего товарища.

Но этим он не ограничился, продолжал Тищенко. Он заявил, что будет пороть всех, кто не будет подчиняться его приказанию.

Ну, а мы решили, если он решится на такую гнусность — отравиться! На-кось, выкуси! прибавил Тищенко; — нас не очень живых-то возьмешь!.. Стой, паря, звонок на поверку; слышь, пойдем, шапку-то не бери, выходи без нее. Потом договорю.

Мы вышли на двор. Каждая камера выстраивалась в две шеренги. С боков всего ряда арестантов из шести камер надзиратели. Впереди старший.

Ждем прихода на поверку начальника. Но вот он! Важно выступает вперед из калитки, в серой николаевской шинели и фуражке с большим нахлобученным козырьком.

Он мрачно подходит к рядам, а старший в это время гаркнул:

— Смирррно! Шапки долой!

— Здорово!

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Шестиглазый величественно махнул рукой по направлению к старшему. Он желал произнести «приветственную» речь. Эта речь, полная угроз и намеков на то, что он будет требовать безусловного подчинения, произвела гнусное впечатление, но не давала повода к непосредственному протесту; мы молчали.

— На молитву! раздалась команда.

Арестанты запели. На левом фланге стоял бородатый каторжный мордвин Уланов. Он задавал тон хору:

— Оче наш! Иже реси на нереси! — запел он. Хором петь должны были все, но многие, конечно, не пели. В том числе и мы.

После поверки нас развели по камерам, где надзиратель еще раз сосчитал нас, и заперли на замок. В коридоре затихло. Началась камерная жизнь. Кое

у кого остался чаек. Стали закусывать, т.-е. есть остатки черного хлеба с кирпичным чаем. Завязывались беседы.

Мой сосед, красивый средних лет арестант, имел мрачный, задумчивый вид. Он молчал упорно. Мне как-то стало неловко, и я, забравшись на нары, решил заговорить с ним.

— Сосед, вы давно уже в тюрьме?

— Давно.

— По какому же делу?

— За убийство.

— Т.-е. как за убийство? Случайное?

— Какое случайное! Убил, чтобы свидетель не пикал на суде. Я дом-то ограбил. Хозяин один был, знал меня в лицо, мог на суде доказать. Так я его и кончил. Я так завсегда делаю, потому что спокойнее.

— Позвольте, сосед, но разве так легко убивать человека? Разве вы не чувствуете ужаса, отвращения от таких поступков?

— Зачем? Какой ужас? Какой стыд? — удивился мой сосед, — для меня что курица, что человек, все одно, пожалуй, даже курицу-то жальчее, потому она невинная, никому вреда не делает, она полезная — человеку яйца дает. А человек — он вредный, его не жалко... Убить его все одно, что курицу. Я никакой разницы не понимаю. И курица — тварь, и человек. Курицу режут. Все едят! Ничего! Почему же человека не душить: мне все одно...

Я совершенно был уничтожен словами соседа. Как тут спать рядом с ним? Вздумается, возьмет и удушит. И зачем я рядом с ним, что между нами общего? Для чего понадобилось главному царскому тюремщику Галкину-Врасскому уравнять всех преступников, уголовных убийц, грабителей и политических борцов, социалистов!

Неужели Галкин-Врасский думает так же, как мой сосед? И для них обоих «все люди равны» означает, что всех одиново можно душить, мучить, оскорблять, убивать, как курицу?

Сосед замолчал, вскоре уснул. Я же долго не мог успокоиться и только под утро вздремнул. В 5 часов утра раздался звонок. Пора вставать. Начинался первый рабочий день в Акатуе.

Надзиратели забегали по корридору, заглядывали в волчки, сухо стучали ключами в двери и покрикивали: «вставай! вставай! Нечего валяться! На работу пора!». Арестанты торопливо одевались, уходили в уборную, тут же рядом в камере, умывались и готовили чайники под кипяток. Через 15 минут все готовы. Раздается второй звонок и, надзиратель отворяет двери в камеры. «Смирно! Встать на поверку!».

Мы выстраиваемся вдоль стены корридора по два в ряд и ждем. Появляется старший надзиратель Б. Быстро проходит и сосчитывает арестантов. Затем отходит обратно к выходу и командует:

«На молитву!». Тот же самый арестантский хор

ускоренно поет под руководством того-же мордвина Уланова, плохо говорящего по русски и совершенно не понимающего произносимых им слов молитвы:

«Оче наш! Иже реси на нереси!».

Ему подпевают человек 5-6 ближайших к нему соседей. Остальные ждут с нетерпением конца молитвы, чтобы броситься с чайниками за кипятком на кухню.

Быстро напившись горячего кирпичног очаю с черным хлебом и солью, мы надеваем халаты, забираем котомки с хлебом, солью и чаем и бежим по крику: «На работу!» во двор. Здесь опять строимся по двое в ряд, и старший надзиратель читает «наряд», т.-е. назначение каждого каторжанина на специальную работу.

Политические с самого начала отказались ходить на домашние работы по бане, пекарне и кухне. Согласились ходить только на горные работы и по двум соображениям. Во-первых, эти работы ставили политических в более приятное положение, ибо горными работами заведывало не тюремное начальство, а горный штейгер, а во-вторых, горные работы давали нам возможность меньше сталкиваться с уголовными на почве мелких кухонных интересов, где проходила вся их жизнь. И наконец, при горных работах в шахтах горное начальство по закону требовало снятия кандалов, ввиду большой опасности,

грозящей от них при спуске в шахты и при некоторых других работах.

Итак, с утра я по наряду попал в среднюю шахту, т.-е. ту, которая разрабатывалась на высоте половины горы.

Я шел туда с некоторым трепетом. Оно и понятно: я ведь никогда не работал под землею, на глубине.

Мы вышли из ворот, окруженные конвойными солдатами и двумя надзирателями. За воротами повернули налево, перешли через ручеек и, пройдя шагов 300-400, остановились около кузницы: здесь мы оставили кузнеца, уголовного арестанта Дмитриева, и молотобойца, известног поэта Петра Филипповича Якубовича, писавшего впоследствии под именем «П. Я.» или Мельшина.

Отдохнув минуты три, мы двинулись дальше и, дойдя до «вышки», т.-е. маленького двух-этажного домика, где помещалась столярная мастерская, оставили там товарища Березнюка-Тищенко. Здесь же остались те товарищи, которые должны были работать в «штольне», т.-е. в горизонтальном корридоре под землею. Отсюда мы двинулись по крутому подъему к средней вышке-навесу, под которым находилась первая шахта. Идти с непривычки было тяжело, так как, кроме одежды, пришлось из кузницы захватить инструменты — топор, кайлу, лопату, три бура, большой фунтовый молоток и 20-ти фунтовый молот-балду. По дороге приходилось оста-

навливаться для того, чтобы отдохнуть. Конвойные этому не мешали. Им и самим с винтовками было не легко подниматься. Однако долго отдыхать не давали.

Кругом был лесок, густой кустарник, и они боялись здесь побегов.

— Ну, паря, неча стоять! Шага-а-ай! Шагай! — то и дело покрикивает сопровождающий нас разводящий-надзиратель.

Но вот мы и дошли. Тяжело дышем. В воздухе холодно, а мы все вспотели, жарко.

— Ты, брат, не вздумай снимать шубу, — сразу заболеешь, — предупредил меня Саша-ангел, мой товарищ по Москве, Гуревич, — погоди, сейчас давай сначала сходим соберем дровец, разложим огоньку, поставим кипятить воду, отдохнем, а потом уж и в яму, на работу.

Когда мы разожгли костер и уселись вокруг него, Саша стал посвящать меня в подробности работы.

— Ты взял из кузницы буры?

— Взял, вот они! Но для чего они?

— Видишь, вот этот, который поменьше, называется «подбурник». — Он взял его в руки и, показав на заостренный конец круглого железного шестика в 4½ вершка длиною и в 3/4 дюйма толщиной, начал объяснять, как им работать.

Но я не слушал его. Мои мысли унеслись далеко, далеко, в Россию, в Москву, в неизвестное будущее..

Вот она, настоящая каторга!.. Ходить ежедневно

в гору, долбить без толку гранит, и так «вечно»... ибо я ведь «вечник», осужден на бессрочную каторгу... Там я должен всю жизнь свою искупать какую-то вину... Но в чем же я виновен?.. Нет, нет! я невиновен, ибо вся моя молодая жизнь была отдана на службу не себе, а родине. Это не наказание, это почетное дело! Ничего, правда восторжествуетъ!.

— Ну, чего расселись! Ишь, чаевничать вздумали! Пора спускаться! Ну! на работу!

Мы медленно поднялись и стали сходить в сруб, спущенный в шахту, по ветхой, неудобной, узенькой лестнице с редкими ступеньками. Ступеньки мокрые, скользкие. Стены мокрые. Кое-где по ним струятся тонкие потоки воды. В руке восковая свеча, за поясом инструменты. Казалось, я спускался бесконечно долго, но на самом деле мы были на дне шахты через 5 минут, ибо всей то глубины в ней было сажен 10-12.

Но, вот я и на дне шахты! Темно, всюду вода, поверхность шахты неровная, так что есть каменные бугры сухие, а между ними ящики, наполненные водой.

— Клади доску поперек! — кричит мне Саша, — а то в воду по колено попадешь!

Но куда тут! Чтобы положить доску на место, надо видеть эту доску, надо видеть дно, а я как слепой — ничего не вижу! Огарок свечки, как бы убивал последние слабые лучи солнца, еще кое-как проникавшие в глубину, и мне казалось, что кругом

мрачная, полная темнота, на фоне которой сверкает мертвый, небольшой огненный язычек свечки, ничего не только не освещающий, но напротив, делающий темноту еще более полной.

Я стоял в недоумении и жмурился. Но постепенно глаз стал приспособляться и начал различать предметы. Четырехугольная яма, дно и стены которой состоят из гранитных, базальтовых и других горных каменных пород. Холодно, сыро. Да, здесь надо сидеть до обеда и что-то работать!..

— Ну, ты чего же стоишь? выбирай место, да и начинай долбить, а то другим мешаешь, места здесь немного, — урезонивал меня Саша-ангел, а сам уже колотил своим молотом по торчавшим отовсюду камням.

— Видишь-ли, мы сначала все это обобьем кайлами и балдой, чтобы добраться опять до материка.

И он показал, как это делается. Обстукивая небольшую площадь стены, потолка или пола молотком, он по звуку определял те места камня, где динамитный взрыв отделил его от основной каменной массы — материка. Удар молотка производил в этих местах звук, как по пустому месту, или дребезжание. В местах-же, незатронутых взрывом, звук получался солидный, крепкий. Определив таким образом разрушенное место, Саша-ангел обратился ко мне:

— Теперь вот что, брат, бери кайлу и старайся ее концом разобрать всю разбитую породу так, чтобы ее лопатой можно было набросать в бадью и вытащить наверх, на отвал. Не смущайся, скоро приспособишься! А я буду работать пока балдой в другом забое, видишь, камень здоровый навис над головой, как бы не свалился.

К этому времени я уже успел присмотреться к обстановке. Взял кайлу в руки и смело замахнулся, чтобы ударить по одному камню.

— Да ты что же по камню то лупишь?! Норови в щель, а то ничего не выйдет.

Но кайла вертелась у меня в руках и как нарочно попадала не туда, куда нужно. Я вспотел, запыхался, а около моих ног набралось породы на одну лопату.

— Отдохни! Ничего! Завтра работа пойдет уже лучше, — подбадривал меня Саша.

И Саша продолжал бить балдой, пока каменная глыба свалилась. Он ловко отскочил, чтобы дать ей упасть на свободное место. Я кайлил, третий товарищ, М. В. Брамсон, накладывал породу в бадью, большое ведро, прикрепленное к толстому канату. Наверху двое товарищей, один уголовный, другой политический, М. Брагинский, по нашему крику «готово!» вытаскивали бадью при помощи вала, как воду из колодца.

Мы уже устали все. Работа стала подвигаться медленнее. Часов в 10 мы поднялись наверх. Костер горел, чайник грелся. Хлеба еще осталось немного. Мы все пятеро уселись, закурили махорочную собачью ножку и принялись опять за кирпичный чай

с хлебом и с сибирским сахаром, т.-е. с солью. И чай, и хлеб, и соль казались необычайно вкусными. Чувствовалась большая усталость, но и бодрость.

Минут через 20 мы вновь спустились вниз и проработали до обеденного свистка, который давался около 12-ти часов.

— Пора идти! Забирай инструменты кверху!

Вниз идти было легко. Мы в 10 минут добежали до тюрьмы. Нас ждал там первый каторжный обед.

Нас пропустили в тюремные ворота без обыска, и мы бросились в камеры. Быстро разделись, умылись и улеглись на нары, чтобы передохнуть несколько минут.

Вскоре нам камерный староста принес в бочке мясо. Нарезанное мелкими кусочками, оно состояло из осердья, кишек, губ, ушей, хвоста и т. д. Староста высыпал все это на стол, разделил самым аккуратным манером на 5 кучек, по числу бачков. Затем сморкнулся, вытер нос пальцами, а пальцы об халат и, забирая куски мяса в горсть, стал раскладывать его в бачки.

Как же это есть? подумал я. А голод чувствовался сильно. Посмотрю, как другие... Но все молчали. Их интересовало только одно, чтобы во все бачки попало поровну мяса, да чтобы не попали в один только губы да сухожилья, а в другой жирок и печенка.

Быстро поделив мясо, староста отправился с другими четырьмя арестантами за «баландой», т.-е. супом.

Все мы уселись кто за стол, кто на нары, группами по 5-ти человек и вооружились ложками. Каждая пятерка поделила мясо между собой и стала есть его с хлебом.

С некоторым чувством гадливости принялся и я. Голод — не тетка. Первый кусочек было неприятно жевать, но когда я доел последний кусочек, я жалел, что больше нет!

Принесли «баланду» — суп из плохо очищенной ячной крупы. Преобладала вода.

Подсыпали основательно соли и стали по-очередно, по крестьянски, хлебать. Разговоры прекратились. Народ проголодался. Надо наесться до вечернего ужина часов в 5½. Выхлебали все до дна. Все казалось хорошо, вкусно. С голоду.

Быстро староста убрал посуду, подмел камеру, а мы уже укладывались на отдых. Лег и я и быстро уснул мертвым сном.

В 2 часа опять свисток.

— Выходи на работу!

Повторилась утренняя процедура. Пришли в шахту. Прежде всего кончили подбирать породу, т.-е. осколки скал, выволокли их при помощи ворота наверх, ссыпали в носилки и унесли на отвал. Потом, передохнув несколько минут, опять спустились вниз и принялись бурить в забое новые отверстия для динамитных патронов.

— Ну, дружище, теперь я тебя начинаю учить настоящей работе.

Саша-ангел подал мне три заостренных железных шеста разной длины.

— Вот этот, который поменьше, подбурник, бери его левой рукой, приставь острым концом к камню, а правой рукой бей по нем молотком и в то же время поворачивай равномерно в правую сторону вокруг одного места. — Бей осторожно, а то руку разобьешь!

Я стал действовать. Сначала руки не подчинялись. Я бил молотком по подбурнику, а он как то поворачивался у меня, уходя на глубину четверти сантиметра, застревал в дырке, и его уж с трудом приходилось вытаскивать. Бурить становилось труднее и труднее. То бур застревал, то дырка искривлялась. Мне казалось, что чем сильнее будешь бить молотком, тем скорее выбуришь положенные одиннадцать вершков вглубь. Но не тут-то было. Я уставал, а толку не было. Саша осмотрел мой подбурник. Острие обратилось в лепешку.

— Эге! Острие забито! Вылезай наверх и пошли буроноса в кузницу: надо наварить стали.

Буроносом был М. Брагинский. Он собрал шесть-семь защемленных буров и понес их вниз. А я остался наверху, разложил костер и начал варить чай.

С полчаса проходил буронос, и когда он вернулся усталый, чай уже был готов. Мы все уселись отдыхать. Надо мною посмеивались.

— Не идет у него бур! Надо сначала потерпеть, а потом он захочет и пойдет!

После отдыха работа с острым буром пошла действительно продуктивнее. Но все-таки к концу работы у меня было выбурено не более двух вершков, между тем как Саша выбурил весь урок, а другие по 7-8 вершков.

— Ты не беспокойся! Мы здесь еще до вашего прибытия установили, что никаких уроков не признаем: бурим как можем и сколько можем: попадется мягкая порода, так и 20 вершков сделаем, а в твоей гранитной, все равно больше 5-ти не сделаешь!

Лѣвая рука ныла. Я хватил раза два по ней молотком. Правая болела от непривычного махания тяжелым молотком в течение нескольких часов. Но я утешался: ничего, привыкну, научусь! Ведь не боги горшки обжигают.

Но вот и вечер. Мы вернулись в тюрьму. Умылись, поужинали и до поверки вышли во двор погулять. Здесь я впервые сошелся со всеми товарищами и начал знакомиться со старожилами. Конечно, больше всего меня занимал уже известный тогда литератор Петр Филиппович Якубович. Необыкновенно чуткий, наивный и добрый, как ребенок, он всем и всеми интересовался. К нам он относился с особой любовью: ведь мы все, вновь прибывшие, привлекались к суду по одному делу с его женой, Розой Франк, которую он не видел с 1884 года, когда он был арестован по так называемому делу Лопатина. Взгляды Петра Филипповича в 1884 году сближа-

лись с тем, что в 1905 году называлось максимализмом. Известно, что начиная с 1881 года действовавшая тогда партия Народной Воли потерпела очень серьзную неудачу, почти крушение.

К этому времени относится временный раскол партии Народной Воли на «молодую» (в которой крупную роль играл П. Ф. Якубович), проповедовавшую аграрный и фабричный террор, и на «старую» с Г. Лопатиным во главе, которая отрицала такой метод борьбы и отстаивала чисто политическую борьбу с самодержавием с целью заменить его свободным республиканским строем. Молодежь того времени резко раскололась; казалось, идеи Якубовича, Флерова (впоследствии ставшего большевиком) и др. увлекли ее; но появление Г. Лопатина из-за границы с вновь сформированным Исполнительным Комитетом Народной Воли, состоявшим из Неонилы Саловой, Вас. Ив. Сухомлина, Добрускиной, Лопатина и нескольких других, чрезвычайно быстро восстановило старую партию Народной Воли. Вскоре после этого, в октябре 1884 года, все они были арестованы и, по обвинению в целом ряде террористических актов (между прочим в убийстве Судейкина, бывшего начальника департамента полиции), были сосланы в каторжные работы. По этому делу и Якубович был отправлен на карийские золотые промыслы в каторгу, а его жена административным порядком в ссылку на 4 года в Якутскую область.

Но я слишком отклонился от нашей тюремной жизни. Пора вернуться в тюрьму!

После ужина во дворе мы несколько походили, а затем уселись на заваленке у входа. К нам подошли и кое-кто из уголовных, тѐ, с которыми чаще всего беседовал П. Ф. Якубович. Тут были Шафаретданов, Вагайцев, Воронцов, Чирок. Они как-то особенно тепло относились к поэту.

— А ты, Петр Филиппович, нонче свободен от рассказа, вишь сколько прибыло новеньких! Сегодня, как камеры то запрут, так и пойдет рассказ! Такой уж у нас обычай!

Якубович был рад. В нем кипели воспоминания, и ему вовсе не хотелось в этот вечер заниматься своей обычной просветительной работой в камере.

Но вот и свисток. Поверка. Молитва. «По камерам!». И через 5 минут мы уже под замком до утра.

В камере разрешалось после закрытия двигаться и разговаривать только до 9 часов вечера, когда всем полагалось — хочешь не хочешь, все равно — спать. От 6½ до 9 времени много, и только в этот промежуток каждый из нас имел возможность заняться своим делом — чтением, обдумыванием, беседой.

Надо сказать, что при каждой камере было устроено особое отделение для арестантских нужд. Чистота соблюдалась там довольно основательно, форточка всегда открыта. Тепло. Это было место уединения особенно приятное, ибо только простенок, сло-

женный из бревен, отделял эту каморку от такой же каморки соседней камеры.

Пакля между бревнами во многих местах была удалена, образовались щели, сквозь которые можно было говорить и просовывать записки. Хотя днем на работе и до вечерней поверки можно было вдоволь наговориться, но, когда тюрьма успокаивалась, арестанты засыпали, всегда находилась какая-нибудь нужда побеседовать, и тогда мы сходились в каморку: один с одной стороны стены, другой по другую сторону, и нередко часы проводились в самых разнообразных беседах.

Но вот мы в камере. Разбалакались. Народу много. Сразу становится душно. Из под подушек и тюфяков вытаскиваются чайники. Народ усаживается опять кто к столу, кто на наре, и начинается медленное, чинное чаепитие с разговорцем.

Мой товарищ Березнюк-Тищенко, огромного роста, пожилой, но крепкий матрос, тоже готовит чай и все время напевает как-то особенно упорно-однообразно где-то подловленные им слова неизвестной ему французской песни:

— Je suis propriétaire, je suis propriétaire! — при чем он каждый слог тянет без конца.

Я упорно слушал: что же дальше будет? Но дальше слышится все то же самое, без конца.

— Осип, а Осип! Садись чай пить, а то мне не хватит и одному! — шутит Березнюк, держа блюдце на пяти пальцах левой руки и со смаком причмокивая чаек.

— Да я ведь, ты знаешь, старый матрос! Был рулевым на черноморской яхте Александра 2-го. Во как! И даже от него самого 5 рублей на чай получил! Ну и время! Небось, теперь не дал бы! А дело было так. Стоял я на рулю. Глядел на компас и правил, а тут вдруг к самому компасу и подходит Александр 2-ой, а у него в руке стальная палка. Я и сообразил, что стрелка в компасе может уклон сделать и, не глядя на него то, говорю:

— К компасу не положено подходить со стальными вещами! — Сказал, а сам думаю: ну и влетит же мне! Все таки вижу, берет палку к сторонке и ушел. А после приказ по команде: матросу Тищенко за правильное исполнение службы и устава даруется пять целковых. Во как! Ну, а через 6 месяцев после этого я уже успел познакомиться с морскими офицерами, с Лизогубом, Давиденко, вошел в партию Народной Воли и вскоре был арестован и сослан навечно в каторжные работы.

Тищенко говорил размеренно, спокойно, отхлебывая глотками чай. Видно было, что он вновь все это переживал, вспоминал подробности своей неусыпной революционной работы.

— Погоди, поживешь, расскажу все... Я ведь мужик, с малолетства пас гусей, потом свинушек, потом до 21-го года был чабаном, с овцами жил. Эх, хорошо в степи! Ляжешь вечером на спину в поле

и глядишь на небо! На душе тихо, радостно...

Он резко прервал рассказ и закурил махорку.

Достал очки, взял книгу, сел поближе к лампочке и погрузился в чтение. Но читал-ли он? Его мысль была далеко, далеко...

Камера напилась чаю, убрались, разложили соломенные мешки и уселись за разговоры. Многие стали просить меня приступить к рассказу.

— Нынче чтения не будет! Рассказывай, где был, что видел, какие дела на родной стороне.

Только один крестьянин, старовер с Алтайских гор, смотрел на меня как-то зло-недоверчиво.

— Чего рассказывать-то? Чего пристаете? Все в миру по-старому: солнце ходит вокруг матушки земли, звезды ночью светют. Мужики работают от свету до свету, бары хорошо живут, и правды как не было, так ее и нету! Ушла матушка-правда от грешного люду, место уступила кривде. Нечистый властвует, антилигент силу взял! Какой-же от них может быть толк? Один грех и попущение... Лучше, ребята, спать ложись! Нечего языки-то трепать.

Камера, видимо, к его словам прислушивалась внимательно, но кое-кто был недоволен.

— Ну, пошел беспоповец воду мутить! И так душно жить, а не хочешь людям дать дохнуть хоть вечер один новеньким чем! Ничего! Рассказывай, политик!

Пришлось уступить. Мой рассказ затянулся далеко позднее 9-ти часов. Мы все лежали, а я тихо,

шопотом, рассказывал длинную историю о России, о тюрьмах, ссылке, каторге. И странное дело, внимательнее всех, затаив дыхание, слушал Зырянов. Он как будто примирился со мной.

— Чего разговариваешь! Спи! — раздалось из-за дверей.

Это кричал «дух» — надзиратель.

— Начальнику доложу! Он вас прижмет! Ишь, разговорились!

Я долго лежал и обдумывал свое новое положение. Нельзя жить годы и годы такой бессмысленной жизнью. Надо ее заполнить разным трудом. Здесь есть книги, надо будет приняться за науку. Но время откуда взять? Целый день на работе, вечером — усталость, тяжелый сон, а на утро все то-же и то-же... Надо будет подумать об урегулировании жизни. Завести периодические отдыхи от работы...

Мысль засыпала постепенно, мозг слабел, картины заменялись одна другой... То я в шахте, то в кузнице... Дмитриев наваривает на бур кусочек стали, Якубович в качестве молотобойца бьет изо всех сил по наковальне... Звуки сливаются, все темнеет...

Дни потянулись за днями, одинаковые, нудные, тоскливые и в то же время вечно напряженные. Мы всегда могли ждать осложнений, грубостей, и угроза телесных наказаний висела над нами, как Дамоклов меч. Капсюля с мышьяком в кармане ежеминутно напоминала об этом. Но нельзя постоянно жить в

такой атмосфере. Были моменты и радости и кое-каких облегчений.

Жена нашего начальника «шестиглазого» уже несколько лет как лишилась ног благодаря параличу. Лечили ее все читинские врачи. Никто не помог. Тяжело ей было влачить существование, вечно сидя в кресле. Она решила попросить к себе нашего товарища, политического каторжанина, студента медика 5-го курса, Мих. Арк. Уфланда. Бородатый, добродушный, черный как смоль, Михаил Аркадьевич улыбнулся:

— Что-ж полечим! Я в лекарства не верю, но попробовать надо. Любопытный будет опыт!

Дело в том, что в литературе в то время очень много писали о новых способах лечения при помощи вытяжек из различных органов. Для поднятия жизнедеятельности вскрыкивали «спермин», т.-е. вытяжку, приготовленную из яичек кролика или морской свинки и т. п. В одной из статеек, попавшихся нам в руки в переплетной мастерской, Уфланд прочел о возможности излечения паралича в некоторых случаях при помощи вытяжки из щитовидной железы, которую можно срезать с гортани барана или теленка. Он решил испробовать такой способ лечения и, к величайшему изумлению и радости г-жи Архангельской, она через два-три месяца стала на ноги, свободно ходила, ездила в Читу! Ее благодарности не было конца. Она все готова была сделать для своего спасителя, каторжного доктора Уфланда, и для всех его товарищей. Благодаря ей, у нас установились изредка сношения с товарищами, жившими на поселении в городе Чите. К нам попадали письма, иногда газеты и даже журналы, а мы через нее иногда отправляли письма своим родным. А это было большим, огромным счастьем!

Надо знать, что нам разрешалось писать родным один раз в месяц, но не письма, а «извещения» по особой форме. По плану Галкина-Врасского, главного тюремного начальника, политические каторжане, попав в Акатуй, прекращают свое существование, как определенные личности, и становятся просто арестантами, о которых их родные имеют право узнавать только через начальство и только, что они живы. Но так как родные могут и не поверить таким реляциям, то арестантам разрешалось писать их своим почерком. В первые годы акатуйской каторги наши письма сводились к сообщениям приблизительно такого рода:

«Арестант такой-то просит вас сообщить, что он жив и здоров. Денег просит не просылать». А дальше следовали подпись начальника тюрьмы и печать, а самое письмо смазано желтой жидкостью (полуторахлористым железом) — для проверки, не написано ли что-нибудь между строк химическими невидимыми чернилами.

Отсюда читатель видит, какое огромное значение имела для нас услуга жены Шестиглазого, который

знал об этом, но молчал, ибо знал, что в случае прижимок его жена запротестует...

Так постепенно жизнь наша укладывалась в более спокойное русло. Была устроена переплетная мастерская, где пристроились к работе М. П. Орлов, М. А. Горачинский. Иногда и я там работал. Но не в работе была там сила, а в том, что через эту мастерскую к нам иногда попадали сравнительно новые журналы, откуда мы знакомились с жизнью в России и заграницей, и, кроме того, в нашей маленькой мастерской мы могли уединяться, уходить от вечно окружавших нас уголовных. В мастерской мы читали иногда вместе, беседовали, а иногда и работали. Так, Якубович в мастерской не мало написал глав своей славной книги «В мире отверженных», в которой он прекрасно описал нашу каторжную жизнь в Акатуе. В этой же мастерской М. П. Орлов написал свою сатиру на стихотворения Якубовича, назвав ее «Крест и пуговица», в которой он осмеял поэта, конечно, в шутку. Не мало тут было нам прочитано стихов Якубовичем, которые он писал обыкновенно днем у себя в камере, когда все ее жители, кроме старосты, уходили на работы.

Когда на Петра Филипповича «находило», т.-е. когда у него являлось настроение к творчеству, он сразу умолкал, ни с кем не мог говорить; его раздражал шум, разговор, всякое движение. Мы его тогда оставляли в покое, и он уходил к себе на нары. Усаживался в уголке на корточках с тетрадкой и

карандашом в руках. Здесь он просиживал часы в муках и наслаждениях творчества. Когда отворялась дверь в камеру в такое время, на его лице появлялась страдальческая, какая-то перекошенная улыбка, на глазах слезы. Он закрывал тетрадь и ждал пока уйдут...

— Чего шляешься! — кричит в это время Воронцов, уголовный арестант. — Нешто не видишь, что Филиппыч пишет? Значит, подлец, не смей в это время шуметь, мешать. Пошел вон! Успеешь убраться!

Все эта сцена заботливости превращала лицо Петра Филипповича во что-то радостно-страдальческое... Ему несомненно приятно было чувствовать это внимание к себе, но порыв нарушен в творчестве. И Филиппыч на время убегал на двор, чтобы отделаться от резких впечатлений и вновь настроиться... Ходит он в такие минуты мрачный. Строгие глаза становятся какими то умоляющими. «Ради всего святого, не подходи ко мне!». Да и как он иначе мог чувствовать, когда его душа рвалась на части...

Мечтатель, стой! Прочна твоя темница —
На родину пути отсюда нет!

Так писал он в один из таких моментов в 1892 году. А ночью он не мог писать.

Тяжко спят колодники... Слышен звон кандальный,
Чей-то скрежет яростный, чей-то вздох печальный.

Ноги крепко скованы, головы обриты...
Божество поругано, счастья сны убиты!..

А ему, Петру Филипповичу, в эти зимние долгие сибирские ночи не спалось... Он упорно думал о судьбе родного народа... Даже во сне его мучила эта страшная преграда, ставшая между ним и родиной..

Спеша, иду на голую вершину,
В надежде там сыскать родной простор...
...О тише, сердце, тише!
Поднялся я и слезы чуть сдержал:
Ряд новых гор, еще мрачней и выше,
К отчизне путь сурово преграждал!

П. Ф. обладал крупным талантом поэта, он умел воплотить свои чувства в образы, в красивые, волнующие стихотворения. Но и все остальные товарищи переживали то же самое в разных формах. Уфланд целые дни лежал в больнице на спине и без конца думал, думал до одурения. Бронислав Славинский много писал по польски. И он, в душе поэт, воплощал свои думы и чувства в стихах. Михаил Гоц упорно глушил боль души наукой. Он изучал историю и философию. Все жили только надеждой на светлое будущее, в которое не переставали глубоко верить.

Но особенно мы ожили, заволновались, когда к нам проникла знаменитая книга — первая книга о марксизме Бельтова-Плеханова. Мы — все народовольцы — поняли, что появилось что-то новое в

нашей общественной жизни, большое. Но мы не могли с этим примириться. Нам казалось, что все основы нашего миросозерцания подрываются. Ведь мы верили, что переход к социализму в России, развившейся на почве общинного землевладения, произойдет без болезненных переживаний капиталистического строя. Мы верили, что социализм вырастет в России именно на почве общинной психологии крестьянского мира. Мы верили, что человек, с его стремлением к счастью, сумеет использовать эту психологию для создания новой формы жизни, а тут вдруг вся эта вера нарушается. «Социализм может быть только результатом развития производительных сил при помощи роста капитализма». С этим мы не могли примириться. У нас выросло враждебное отношение к этой книге и даже к самому Бельтову-Плеханову.

Мы волновались. Без конца обсуждали эту книгу и чувствовали, что мысль наша, начавшая застывать, ожила. И это было хорошо, это было — счастье.

Так шли дни, шли месяцы и годы. Человек ко всему привыкает... даже к тюрьме с ее бессмысленной жизнью, бессмысленой работой и безнадежной надеждой. И мы свыклись, выработали систему прозябания, чтобы не умереть, хотя наш поэт Якубович для утешения и написал:

И звезды погаснут, и сгинет наш род!
Лишь мертвое — вечно, живое — пройдет!..
. . . .
Чтоб новому колосу жизни созреть,
Мы, старые зерна, должны умереть!

Но умирать никому из нас не хотелось. Инстинкт жизни слишком силен. Он предугадывает по малейшим признакам, что ему еще предстоит жить и работать.

Споры о книге Бельтова обострили наше желание жить, жить во что бы то ни стало!

В 1896 году Якубович вышел на поселение. Почти одновременно с ним уехал и Михаил Гоц. Оба они были поселены в Кургане, оттуда перебрались в Семипалатинск и приняли близкое участие в издававшейся там газете «Степной Край», дав ей направление, особенно близкое нам — направление Лаврова и Михайловского. До нас в тюрьму изредка доходили весточки, и они еще больше нас подбадривали.

А тут стали приходить новые люди на каторгу — явный признак того, что революционное брожение вновь стало усиливаться. В 1893 году, к весне, прибыли Н. И. Кочурихин и А. И. Архангельский, осужденные первый на каторгу без срока, а второй на 12 лет.

Еще до их прибытия мы узнали из газет, что по делу о покушении на казанского губернатора осуждены и отправлены на каторжные работы в Акатуй два названных товарища. Признаюсь, я был до глубины души поражен, и было почему! Дело в том, что я знал Н. И. Кочурихина и знал определенно не с хорошей стороны, и мне было непонятно, как он мог попасть на каторгу.

В 1886 году я был в Туле освобожден из под надзора полиции и перебрался в Ярославль, так как в Москву департамент полиции меня пустить не нашел возможным. Как я уже рассказывал в одной из предыдущих глав, в Ярославле я быстро сошелся с местными студентами, которых тогда было в Демидовском лицее всего 80 человек, большей частью бывших семинаристов. Оказалось, что большинство их были народовольцы, и я вошел в одну из групп, завел сношения с московской группой, началась переписка, изучение литературы. Само собою разумеется, что частые свидания и приезды из Москвы заинтересовали местных жандармов, и они порешили заняться слежкой за нами.

В это время появился в Ярославле Н. И. Кочурихин. Молодой бывший гимназист стал часто появляться в нашей студенческой столовой, заводить знакомства и обратил на себя внимание слишком большим любопытством. Ярославль город небольшой, и скоро мои друзья заметили Кочурихина в подъезде жандармского офицера. Тогда стали к нему относиться осторожнее и решили проследить его сношения с жандармским правлением. Скоро было установлено, что он посещает это учреждение правиль-

но, следовательно, несомненно у него там «дела». Но какие дела? Порешили поставить ему вопрос ребром.

Дело было в мае 1886 года. Я жил в это время с тов. Н. Я. Коншиным и М. Мышляевым во втором этаже домика на другой стороне Волги, за островом. Место спокойное, защищенное от любопытных взоров. Мы порешили воспользоваться обычным у студентов способом — пригласить его к себе «выпить и закусить», попеть и поговорить...

Он, конечно, согласился. Вечером он явился к нам. На столе появились пиво, селедка и огурцы. Завязалась обычная российская беседа и становилась все более откровенной. Вдруг Н. Я. Коншин своим серьезным голосом резко обратился к Кочурихину:

— Слушайте-ка! Расскажите нам, зачем вы путешествуете к жандармам? Что у вас там за дела?

Кочурихин был ошеломлен. Сразу замолк, съежился и, несколько минут промолчав, начал со слезами на глазах свое признание:

— Я — искатель! Я ищу правды... Бросил Рыбинскую гимназию, будучи в 8-ом классе, потому что пришел к убеждению, что правду необходимо искать не в книжках, а в самой жизни.

Меня мучила несправедливость жизни, когда мои знакомые богачи живут в полном удовольствии, а крючники, которых я часто наблюдал на Волге, живут в грязи, мерзости, пьянстве и тяжком труде. Я думаю, что изменить это необходимо, но только путем развития нравственных качеств человека, любви. А это может быть достигнуто только в равенстве людей, в их братстве и в труде.

Я ушел из гимназии и пошел в Смоленскую губернию в знаменитое имение Энгельгардта, о котором много говорили, как о хозяйстве, ведущемся образцово. Там поля обрабатываются умно, удобряются суперфосфатами; урожаи огромные; работники трудятся вольно, получают почти все, что вырабатывают. Но придя туда и проработав два месяца, я увидел, что это были только разговоры. На самом же деле там труд эксплоатируется, как и во всех крупных имениях. Я ушел оттуда в Ясную Поляну к Толстому, но и там я увидел то же самое. Тогда я стал ходить из деревни в деревню и присматриваться к настоящей трудовой жизни. Голодал, терпел холод и вот наконец пришел сюда, думая подыскать подходящую работу. Поиски ни к чему не повели. Последние гроши прожиты. Деваться некуда. Я отправился тогда к губернатору, добился приема, рассказал ему свою жизнь и просил его дать мне работу, хоть канцелярскую. Вместо этого он послал меня к жандармскому полковнику...

Тут Кочурихин расплакался. Было ясно, что он поступил к нему на службу. Из дальнейших расспросов выяснилось, что жандармы поручили ему специально следить за той группой, с которой я был связан. Жалкий вид этого обманутого и не особенно разборчивого юнца вызывал в нас больше сожа-

ления, чем озлобления, и мы решили в тот же день отправить его на родину, в Рыбинск, к родителям, взяв с него слово не возвращаться ни в Ярославль, ни вообще к службе у жандармов.

Прочли ему основательную нотацию, купили билет на пароход, сами свезли его на лодке в пристань и сторожили, пока пароход не отчалил. Мы были уверены, что этим закончится короткая мальчишески-необдуманная затея Кочурихина.

Читатель может себе представить, как тяжело и непонятно было появление Кочурихина на каторге в качестве политического осужденного.

Открылись ворота тюрьмы, и я увидел именно этого самого Кочурихина. Первым его словом было:

— Я не могу, товарищи, подать вам руку прежде, чем вы не выслушаете меня. Я обязан предварительно объяснить свое прошлое и как я попал сюда.

Он подробно рассказал всю свою жизнь. После Рыбинска он уехал в Петербург, где прошел курсы бухгалтерии в школе Езерского и служил во многих учреждениях бухгалтером, писал в специальных изданиях и всячески отстранялся от революционной работы.

— Я решил во что бы то ни стало искупить свою вину. Подошел голодный 1892 год. В это время я заведывал земской бухгалтерией в Нижнем-Новгороде. Будучи по делам в Казани, я наткнулся на ужасный беспорядок в деле помощи голодающим крестьянам Казанской губернии. Крестьяне одной волости ходили за помощью из одного учреждения в другое без всякого результата. Вступился в дело и я. Написал им прошение в земскую управу — без результата. Написал губернатору — опять ничего. Тогда я сговорился с товарищем А. И. Архангельским, и мы предложили крестьянам решительный план, выполнение которого должно было обратить внимание на их положение.

План этот состоял в том, что Кочурихин должен был произвести покушение на губернатора, а Архангельский — отправиться в волость вместе с ходоками, созвать сход и повести всех крестьян в помещичьи амбары забирать заготовленный хлеб.

Крестьяне на это не только согласились, но со слезами на глазах благодарили за такую помощь.

Результат обычный. Кочурихин выстрелил в губернатора на приеме и был арестован, а в волости при первой попытке разбирать амбары появилась полиция и задержала А. И. Архангельского... Потом военно-окружной суд и приговор: обоих к смертной казни. Их защищал известный уже тогда молодой адвокат М. Мандельштам, которому удалось добиться смягчения приговора — Кочурихину на бессрочную, а Архангельскому на 12 лет каторжных работ.

Рассказав нам все это, Кочурихин просил нас разрешить вопрос, можем ли мы его принять в свою среду, как товарища.

После короткого обсуждения, мы все единогласно

решили предать забвению прошлое, считать его поступок в полной мере искупающим его вину и принять его в свою товарищескую среду.

Годы летели как стрела. Дни тянулись как смола. В России шла внутренняя глухая борьба во имя свободы. Наш процесс и каторга были в те времена таким большим событием, а количество политических каторжан так незначительно, что нас не забывали в России, ни заграницей. В английском парламенте был даже сделан запрос по поводу нашего дела, что имело серьезное влияние на нашу судьбу. Малосрочные получили значительное сокращение сроков при объявлении в 1894 году манифеста по поводу какого-то события в царской семье, а нам, бессрочникам, был назначен срок в 20 лет каторги. Для нас это было малым утешением. 20 лет или 22 с половиной года, что полагалось бессрочникам, разница невелика.

Но все таки «вечность» и безусловность смерти в тюрьме или на поселении хуже, чем маленькая надежда, что через 8 лет выпустят в вольную команду, а через 14 — на поселение. Так полагалось по закону. В результате многие наши товарищи малосрочные были отправлены из тюрьмы на поселение. Остались только долгосрочные. Жизнь стала у нас тише. В каждой камере осталось только по одному политику среди 20-25 уголовных. Но обычай уже установил и в сознании начальства и в сознании арестантов, что политик — не уголовный. Надзиратели привыкли с нами обращаться вежливо. Арестанты ценили в нас своих учителей, успевших уже многих из них обучить грамоте, счету, истории и т. д. Но ценили нас и за то, что, когда к нам попадало немного денег, мы закупали махорку и делились со всей тюрьмой.

Жилось спокойно, нудно, как на необитаемом острове. У меня, впрочем, было небольшое, но интересное занятие.

Мне разрешили, по предложению Географического Общества, построить метереологическую второразрядную обсерваторию. Тогдашний директор Петербургской метереологической обсерватории Янчевский прислал мне все необходимые для этого средства и инструменты, и я занялся сначала постройкой, а затем и ежедневными наблюдениями. Утром, в полдень и вечером меня под конвоем выводили за ограду тюрьмы к метереологической будке, и я делал необходимые наблюдения; затем в шахте, на разных глубинах, я выбурил глубокие дырки и держал в них особые термометры для исследования температуры в земле. Раз в месяц я делал сводку наблюдениям и посылал отчеты в Главную Метереологическую Обсерваторию. Вся эта маленькая, но полезная работа представляла некоторый интерес, и уже позднее, в Чите, я в отчетах ме-

стного отдела Географического Общества напечатал работу о «Климате Забайкалья».

Но все это — и метереология, и занятия с уголовными, и чтение — мало как-то утешало. Больший интерес представляло наблюдение над духовной жизнью невольных наших сожителей. По вечерам мы читали им вслух различные литературные произведения. Особенно охотно они слушали Шекспира и Достоевского. «Преступление и Наказание» пользовалось особым вниманием и любовью. Арестанты чувствовали в Достоевском великого знатока больной души, своей собственной души. Они готовы были без конца слушать произведения этого гениального писателя. Наоборот, когда мне приходилось читать небольшие брошюры, приспособленные для народа, арестанты всегда бывали недовольны.

— Чего пустое-то читать! Про нашу крестьянскую жизнь мы и сами довольно знаем. Это неинтересно, как люди плохо живут, ты нам душу вскрой человечью, да покажи, как надо жить по-хорошему. Разве это можно в маленькой книге прописать? Это все ни к чему!

Любопытно, что художественный вкус у арестантской массы решительно ничем не отличался от вкуса интеллигентных людей. То, что нами оценивается, как художественное, крупное литературное произведение, оценивалось совершенно так же, я бы сказал, по внутреннему художественному чутью,

и уголовными нашими сожителями. Вся так называемая просветительная, народная литература, приспособленная, якобы, для народного понимания, пользовалась среди них определенной нелюбовью.

Шекспир, Гоголь, Достоевский, Чехов — их любимые писатели наряду с Толстым и Короленко. Этих авторов они с удовольствием и в высшей степени внимательно слушали, изучали, многое запоминали наизусть.

Лучшие моменты нашей жизни в Акатуе совпадают с возможностью, которая открывалась перед нами для умственного и нравственного влияния на уголовную массу. Трудно, конечно, учесть размеры нашего влияния, но несомненно, что нам удалось открыть перед ними то, что было им совершенно неизвестно, и пробудить большой интерес к бесконечному количеству новых и важных вопросов.

В 1895 году по другому манифесту процесс наш был пересмотрен в особом порядке, и наказание каторгой заменено «ссылкой на житье в Восточную Сибирь сроком на 10 лет со дня приговора». Таким образом летом 1895 года все осужденные по якутскому процессу подлежали высылке в Сибирь на житье до 7-го августа 1898 года, после чего мы должны были пробыть четыре года под надзором полиции во внутренних губерниях России, исключая столиц. Начинался новый период нашей жизни.

Тяжело было прощаться с товарищами, которые оставались на каторге. Бронислав Славинский, Ни-

колай Кочурихин, Гавриил Тищенко-Березнюк были нашим живым укором. Было как-то обидно и горько за них, не хотелось уезжать. Кажется, каждый из нас готов был остаться еще и еще в тюрьме. И действительно мы протянули еще две недели свою совместную с ними жизнь. Надо было отправляться. Был назначен день, прибыл конвой. Душа наша уже оторвалась от тюрьмы и летела туда, на волю, где нас опять ждет жизнь, борьба. От нее мы не отказались, о ней мечтали и уже строили тысячи планов.


Société Nouvelle d'Imprimerie et d'Edition
32, Rue de Ménilmontant, 32, Paris (20e)